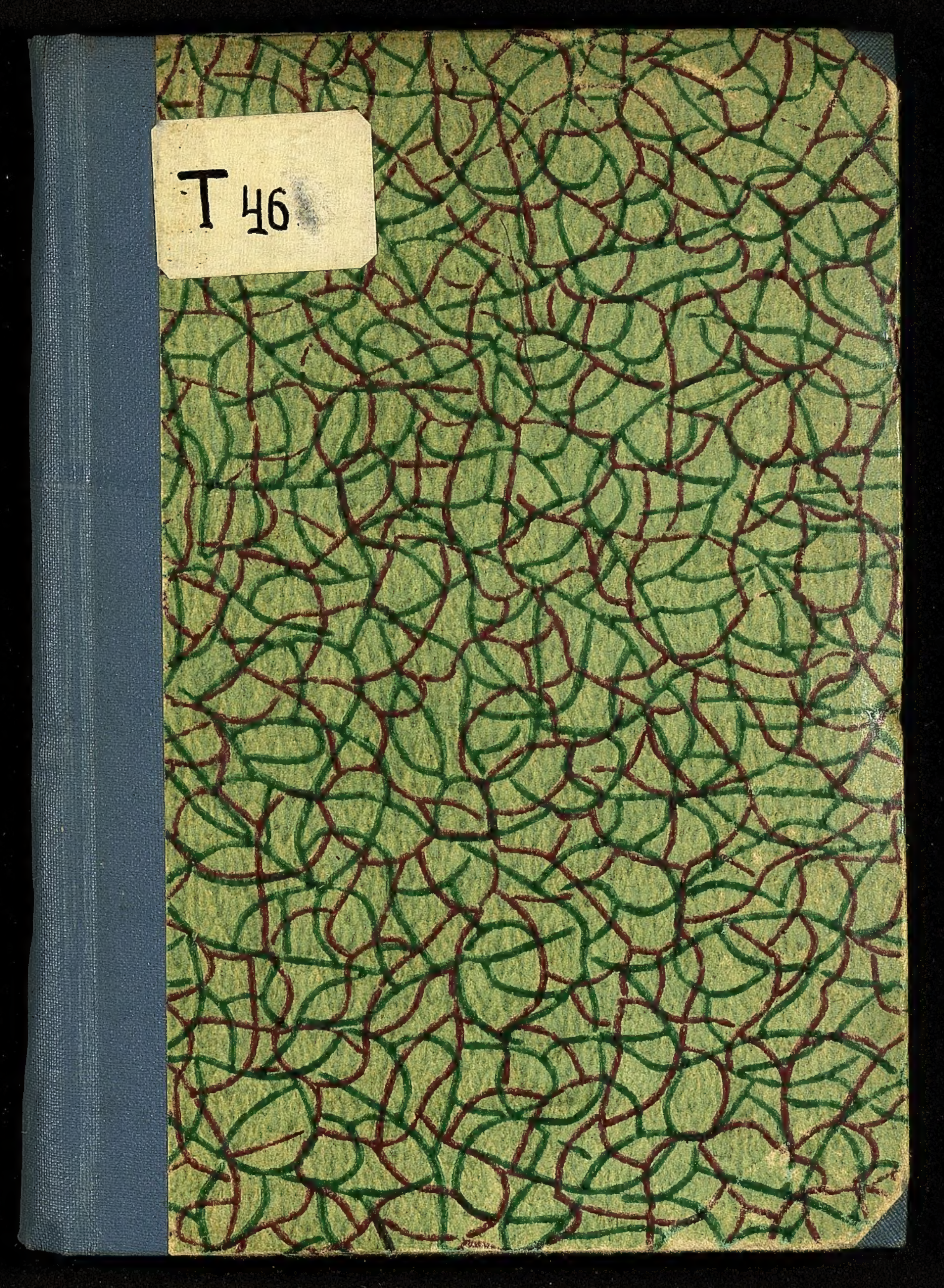
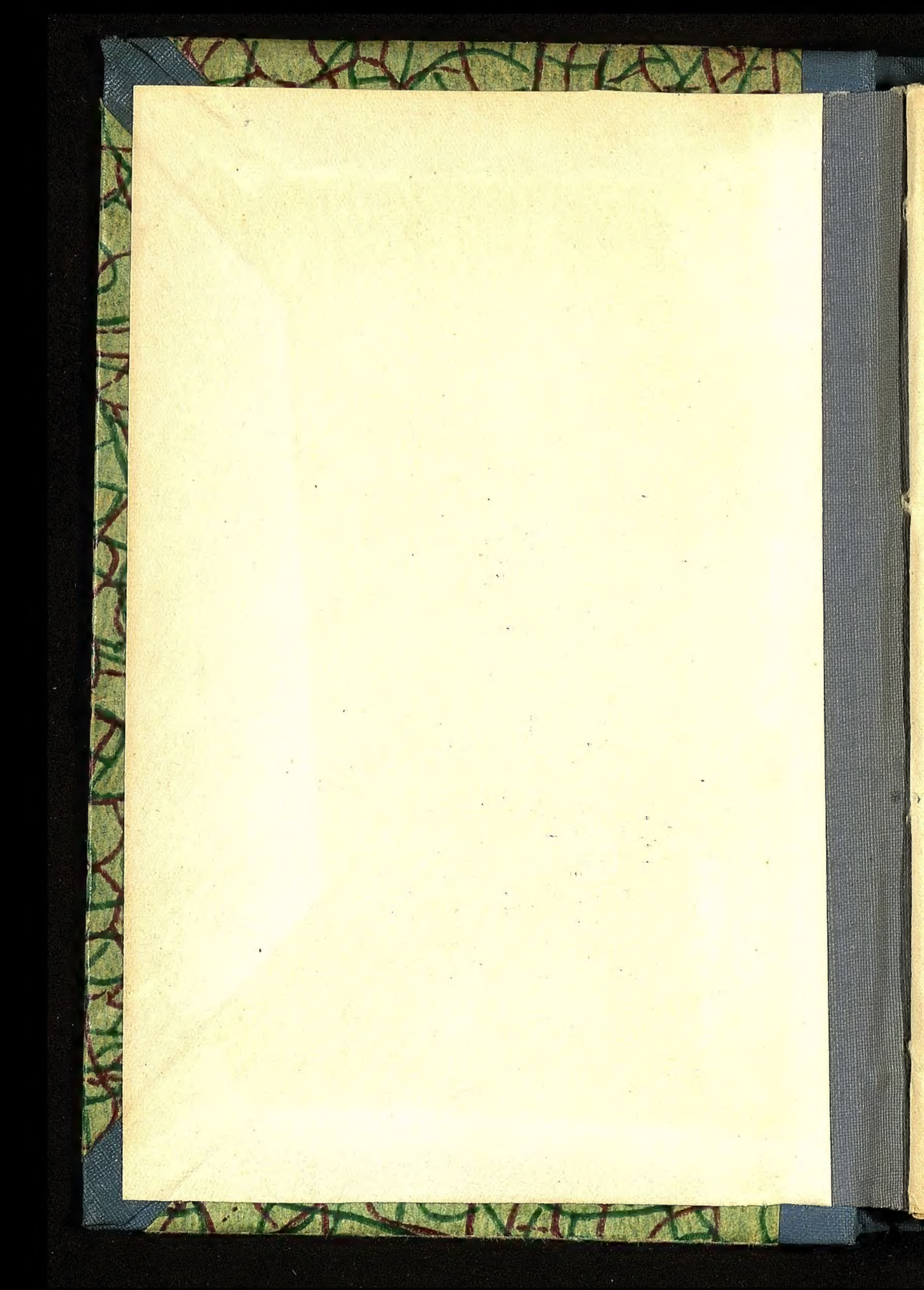






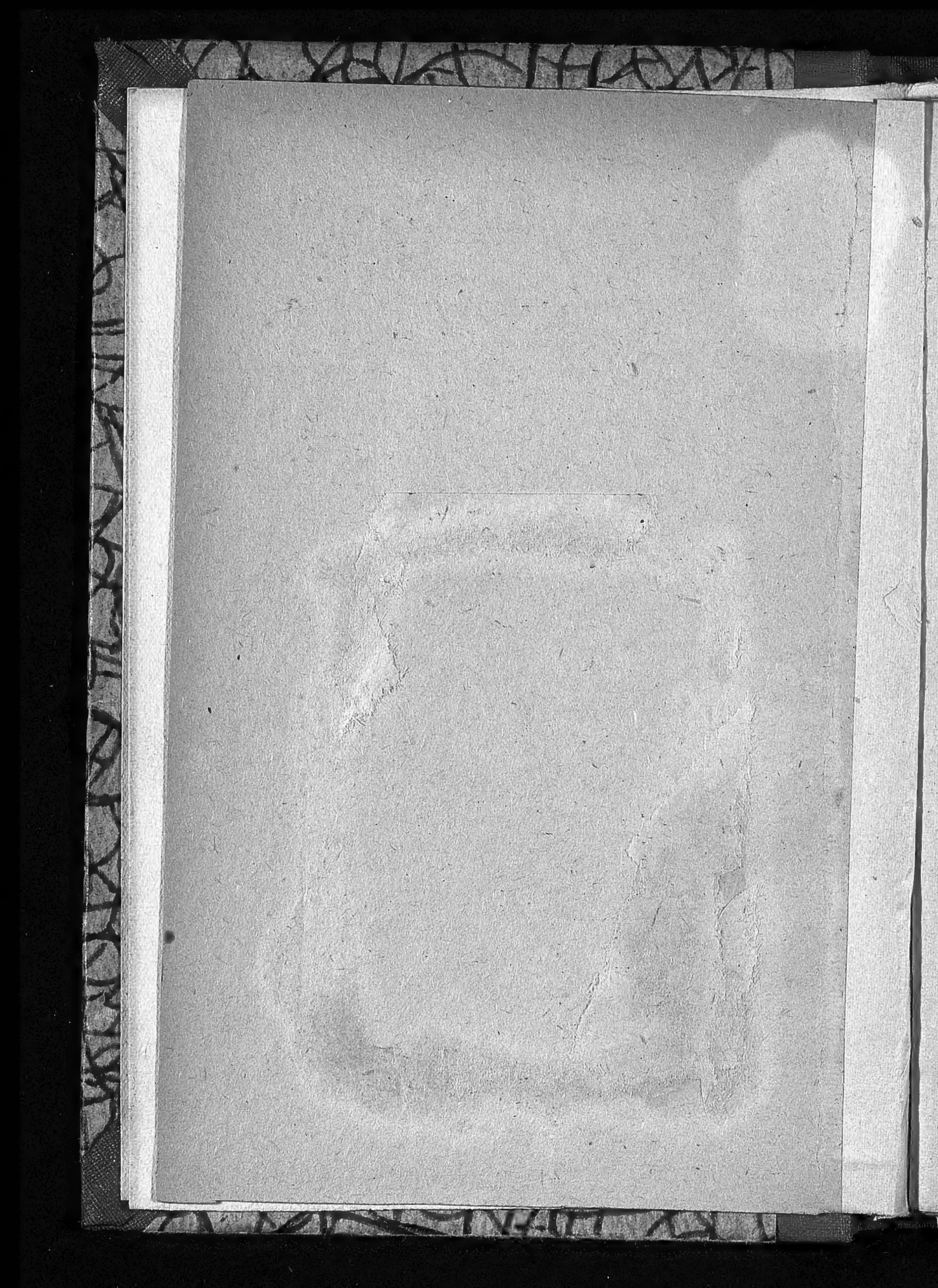




НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ВОЙНА





Дешевая библиотека ОГИЗа

НИК. ТИХОНОВ

ВОЙНА



ОГИЗ · ЛЕНГИХЛ
1933

Содержание

Стр.

Предисловие 3

Часть первая

1. Вперед! 6
2. Мудрецы 13
3. Молодость 21
4. Тихий разговор 24
5. Сцена у мольберта 30
6. Ракета и пуговица 37

Часть вторая.

1. Фанг 39
2. Вода и огонь 48
3. Князь тьмы 55
4. Баллоны 57
5. Кенси 63

Часть третья.

1. Анни 67
2. Скорость 77
3. Хитченс 83
4. Первая помощь 87
5. Smoking-room 90
6. Сербия 95
7. Пятно 97
8. Камера 102

Часть четвертая.

1. Маленькие неприятности 106
2. Большие неприятности 108
3. Шрекфус выходит сухим 111
4. Кажется, да! 115
5. Ноябрь 117
6. Победители 119

Часть пятая.

1. Окорок 122
2. Иоганн Кубиш 127
3. Профессор Фабер пожимает плечами 136
4. Богатые перспективы 138
5. Что мы делали сегодня? 143

Предисловие

Советская литература почему-то избегает разработки таких тем, как «Наука и война», «Техника и военное искусство», а между тем в дни усилившейся военной опасности, в дни, когда буржуазные государства вооружаются, обгоняя друг друга в лихорадочном желании увеличить свою боевую мощь, об этом следует вспомнить и литературе.

Следует вспомнить хотя бы примеры ближайшего прошлого и посмотреть, как происходило это лихорадочное перевооружение, какими путями шла история развития оружия и чьи умы работали неустанно на войну.

Военные советские комментаторы прекрасно учитывают, что значит недооценка оружия противника. Литераторы должны заняться богатым военно-техническим материалом — хотя бы в целях разоблачения подготовки будущей войны против Советского союза.

Знакомясь с отдельными фактами эпохи мировой войны, разъясненными в специальной литературе, я не устоял перед соблазном соединить в небольшом условном повествовании, сбивающемся подчас на хронику, несколько трагических эпизодов периода так называемой газовой и огнеметной войны, почти неизвестных широкому читателю.

Совершенно очевидно, что, развертывая полную картину мировой войны, нельзя не говорить о ми-

ровом пролетариате. В моем узком задании — показать детально только обстановку и подробности развития именно огнемета и боевого газа, я естественно не мог поднять и разрешить громадную выше упомянутую тему, так как для этого у меня нехватило бы ни знаний ни возможностей моего таланта. Трудности обработки даже такого узкого учета технической силы армии, как краткая история возникновения отравляющих веществ и сжигающих веществ, заставили осторожно подходить к показу фактов.

Пацифизм не должен появляться даже на пороге подобного произведения. Ни о каком пацифизме не могло быть речи, также рассказ не должен был выглядеть «антантовским», т. е. обличительным по отношению к Германии как начавшей первой газовую и огнеметную войну. Самое сосредоточение трагического материала на подлинном пространстве могло легко превратить трагедию в мелодраму, что местами и ощущается. Конечно, вещь вышла довольно дискуссионной. Предпринимая этот опыт, я шел на неудачу, потому что учиться можно на примерах, а примеров не было, или — такие далекие, что их существование не могло пригодиться.

Конечно, повесть могла быть значительно сильнее, — но тут ничего не поделаешь. Я хотел показать первым опытом работы на таком «боковом» материале новую область, куда советская литература должна явиться и взять под контроль факты действительности, как это она делает, участвуя в мирном строительстве социализма в СССР.

Нужно сознаться, что дерево было зарублено большое, и свалить его мне не удалось, раскачать его немного — я все же раскачал, — конечно, мир удивлен не будет так, как удивился он, когда, высмеивая известие о существовании подводной лодки «Deutschland», он неожиданно увидел ее серый корпус, вынырнувший из глубины океана и направляющийся к молу Балтиморы.

Это только значит, что пока голые факты истории военной техники неизмеримо сильнее фактов литературных, но это не значит, что писатель должен раз навсегда отказаться от подобного материала. Как раз наоборот. Он должен так постигнуть политическую и военнотехническую сторону исторического факта, так поднять его, что самая подача явится новой формой. К сожалению, я пользовался обычным приемом повествования, чередуя линию личной судьбы героев (впадая в традиционные схемы) и линию развития нового оружия, за что поплатился в конце концов, получив повесть, не решающую вопроса во всей очевидности, а только иллюстрирующую частично историю вопроса. Но я твердо стою на том убеждении, что новый материал создаст новую форму и форма эта будет небезинтересна и самому широкому читателю и самому придирчивому критику.

Я не сумел так скоро отыскать эту форму, но это не значит, что это не удастся другому, более счастливому писателю.

Часть первая

Самые простые тела могут быть сложными.

Химия.

1. ВПЕРЕД!

— Вперед! Вперед! Скоты, вперед! Не ленись!

Лежавшие солдаты немедленно вскочили, неуклюже согнувшись, пробежали между кустами и упали. Им ничего больше не оставалось делать. Приказ надо было исполнить сейчас же. Они упали. Это называлось перебежкой.

Лейтенант Рупрехт Шрекфус, называемый друзьями просто «Руди», стоя на одном колене позади стрелковой цепи, был наполнен азартом неопытного и прирожденного воина. Руди Шрекфус мог всерьез говорить только о войне. В другое время он был просто служакой, был лейтенантом, он играл в карты, делал долги, жил не по средствам, хвастался автомобилями, которых не имел, рассказывал о своих конюшнях, которых у него никогда не было; если иной раз он загонял солдата в госпиталь, исполосовав по всем правилам, то это происходило от вспыльчивого нрава, не больше.

— В больших семьях, — говорил он в оправдание, — дети тоже иногда страдают от случайного бессердечного отношения родителей, подмастерья бьют учеников, чтобы научить их уму-разуму, а мужья — жен, чтобы направить их на правильный путь. Все в этом мире благополучно, особенно в такой боевой летний день.

Ему нравилось сегодня все: жаркое солнце, кусты, в которых залегла его цепь, каски в защитных зеленых повязках, небо, сухие рокоты перестрелки, бутафорские удары орудий, скакавшие на горизонте ординарцы, свистки, трещотки, заменявшие пулеметы, — вся пестрая бестолочь маневров — это все-таки были только маневры, а не война, которую он обожает и которую он никогда не видел.

— Форт синих смолкает... Внимание, Руди, — закричал ему товарищ, махая биноклем.

На свете есть дисциплина и армия. Деревня сеет для нее хлеб, мастерские шьют обмундирование и обувь, заводы поставляют оружие и снаряды. Да здравствует новый шанцевый инструмент, новые матовые ремни на мундире и нововведение — колючая проволока.

Ему сигнализировали с левого фланга. Он вскочил:

— Вперед! Вперед!

Солдаты бежали, не удерживая в голове устава. Они бежали слишком открыто.

— Владек! — Руди выходит из себя. — Нагни голову, винтовку не так высоко. Славянский гусь! Познанская требуха! Владек, тебе я говорю!

Немного утомительно вести такой образ жизни несколько часов под ряд, но зато форт будет сейчас взят. Если судить по упорному надсадному шуму пушек и по трещоткам, изображающим пулеметы, по густоте цепей, ползающих в траве, сзади которых ползают такие же, как Шрекфус, лейтенанты, — форт окружен.

Цепи обрастали восклицаниями. Неожиданно перед ними возникло то, к чему они стремились все утро: серая стена гласиса, бруствер, бойницы. Над всем этим серым, как макет, видением стало молчание. Неприятель расстрелял все патроны.

И тогда Руди крикнул последний раз, уже ни с кем не согласуя:

— Вперед! Штыки!

У него в голове плясала картина побоища, равного штурму Меца или Седана. Это было простительно: он не ел с утра. Мечты голодного человека, как известно, болезненно обостряются.

Сейчас его стрелки ворвутся в серое укрепление, его будет благодарить за службу господин майор Хольст, к нему навстречу выйдет комендант и отдаст саблю. Гордись, Руди! Сколько разговору! Сколько воспоминаний! Великие германские солдаты добежали до рва, спустились в ров и остановились в недоумении.

Вместо белого флага на стене форта появились пожарные. Штурмующие растерянно переглядывались. Штурм прервался. Это комедия или это война? Почему здесь пожарные с кирпичными щеками и большими северными глазами, в которых вот-вот появится усмешка. Но нет, она не появляется. У них в руках брандспойты, направленные на победоносных солдат Руди.

— Что это значит? — закричал он в бешенстве, — что это значит?

На форту раздалась команда, и брандспойты начали извергать громадные потоки мутной воды. Водяные кулаки ударяли в каски, в лицо, в плечи, в грудь. Солдаты бросали винтовки, падали, спотыкались, фыркали, как лошади, и бежали изо рва, да, они бежали, мокрые и униженные, мутная вода била им в спину. Это было вне правил игры, это был анекдот, и о нем долго будут говорить во всех военных клубах от Рейна до Вислы. Сам Руди был мокр с ног до головы. От утреннего изящества не осталось и следа.

— Что за животное придумало пустить в дело пожарных?

— О, за это ответит комендант, даже если он сошел с ума!

— Где посредник? Куда он девался? Где же в самом деле посредник?

Форт весь, как на пожаре, сверкал пожарными

касками. Брандспойты неистовствовали. Атака была явно отбита. Ни один солдат не приближался к гласису. Они толпились за сценой. Они ругались вполголоса, стреляли в воздух, обтирали винтовки и выжимали штаны. Руди почти плакал. Вода стекала за гордый воротник. Мундир был испорчен, матовые ремни поблекли. Точно Руди упал с понтонного моста в реку и его выудили багром за ногу. У него не было слов — он метался среди мрачных и мокрых стрелков.

Через кусты шел господин майор Хольст, и с ним шел посредник. Повязка на рукаве делала его почти иностранцем, он был на особом положении. Он был неуязвим и бессмертен. Посредника нельзя было ни убить ни взять в плен. Он же на каждом шагу наносил армии громадные неприятности. Ординарец вел его лошадь в поводу — рыжего гунтера с белым пятном на лбу.

— Имею честь доложить... — Руди не находит голоса, он готов итти под арест сразу, он понимает, что его мокрый вид шокирует армию. Случай слишком необыкновенен. Первый раз в германской армии на императорских маневрах случается такая дикая выходка.

— Отбой!

Ворота форта раскрылись. Склонный к полноте человек с фиолетовым лицом и надутыми щеками, согнув нос, как клюв ястреба, выходит в сопровождении своего штаба. Посредник кричит ему, не скрывая злорадства:

— Отличная защита! Остроумнее не придумаешь! Благодарю вас! Вы открыли Америку.

Мокрые солдаты и офицеры толпятся сзади. За плечами коменданта выстроились пожарные каски. Люди шептались не зря. Уже комендант получил прозвище «Саксонского клоуна». Почему — не знал никто, но всем нравилось прозвище.

Фиолетовое лицо коменданта начинало ясно синеть, только глаза, расширенные волнением, смот-

рели твердо в лицо посредника. Может, он решился выкинуть еще какой-нибудь номер, которого не придумает никакой полевой устав.

Господин майор Хольст хочет начать говорить. Господину майору не удается начать говорить, потому что откуда-то принеслось слово, действующее как удар тока — мокрые солдаты застыли в рядах, мокрые офицеры превратились в изваяния, посредник бросил руки по швам, его лошадь перестала перебирать ногами. Форт замер. Каски пожарных перестали блестеть.

— Кайзер! Внимание! Кайзер!

Серебристая шинель плотно обтянула плечи мерно шагавшего человека. Тяжелые глаза не мигали. Бронзовое лицо, на котором щетинились плоские усы тигра с копьеобразными концами, чуть скуластое, обращало окрестности в неподвижность. Все застывало, терялось и тянулось перед этим, идущим в звонком цокоте шпор, фантомом. Он придумал себе все: походку, биографию, Германию. Он хотел придумать судьбу. Но всякий раз, когда он заносил руку, глаза начинали мигать, и это был плохой признак. Каждый раз такое волнение имело название. Название последнего волнения было Агадир. Из-за этого маленького африканского сухого имени он мог двинуть армию, но глаза замигали.

Он не был пророком, хотя в поисках судьбы его и тянуло на восток. Его тянуло правильно. Судьба лежала на востоке. Так она имела имя, место и дату. Эта судьба называлась С а р а е в о. И еще она называлась: эрцгерцог, но сейчас этот эрцгерцог гулял в Ишле и имел маленький насморк, только маленький насморк. Человек в серебристой шинели шел прямо к Шрекфусу, не сворачивая никуда. Собственно он шел к армии, ибо из всех причуд он любил одну игру больше всех, эта игра была армия, это была любимая игра, ради нее существовало все. Если бы ее отняли от него, ее — блестящую, муштрованную, белоштанную, сине-зелено-черно-мундир-

ную, с громкими пушками, с храпом лошадей и вытянутыми по нитке рядами, — чтобы ему осталось в жизни?

Правда, в жизни он хотел быть всем: художником, артистом, писателем, инженером, профессором, моряком, путешественником, — он рисовал картины — плохие, читал экспромтом стихи — плохие, ездил в Иерусалим — неудачно, писал статьи — неудачно, давал советы фабрикантам — легкомысленно. Он одевался в одежды разных профессий, он перепробовал все, от профессорской мантии до синего пиджака яхтсмена — и все это было не то. Серебристая шинель, высокие сапоги и стэк — сабли он не любил, он не владел правой рукой, она была как мертвая, сухая, глупая рука. Шинель, сапоги и каска — это шло к нему больше всего, и это называлось еще: война. И разве не для войны он готовил все эти живые игрушки, которые когда-нибудь двинутся, подчиняясь красным молниям штабных карандашей на картах Франции, Бельгии, Польши, Англии?

Разве не для него исползал лейтенант Руди Шрекфус все поля и кусты вокруг этого несчастного форта? Разве не для него пожарные не пожалели воды для защиты? Разве не для него сошел с ума комендант?

Кайзер приближался с огромной свитой. Золото-клетчатые мундиры гусар, черные сияния дощечек на уланских киверах, черное сукно артиллеристов, расцвеченный штандарт, монументальные адъютанты, зеленые мундиры пехоты, множество палашей и шашек и причудливых шпор сопровождало его.

Комендант форта был синь, точно его поразила молния. Он был синь весь до кончиков пальцев.

Кайзер прошелся глазами по мокрым каскам и мундирам. Посредник знал, что первый вопрос будет обращен к нему, но он ошибся.

Кайзер подошел к коменданту и остановился. Он любовался пронзительной синевой комендантского

лица, он любовался верноподданным страхом боевой машины.

— Комендант, — он протрубил это слово, и бронзовые щеки его стали еще суще, — капитан.

— Отто фон-Штарке, ваше величество, — прерывающимся голосом ответил комендант.

— Ты, кажется, наколдовал здесь дождь?

Нет, Руди не хотел бы быть на месте коменданта. Проклятое сукно, если его хорошо пропитать водой, оно долго удерживает холод. Руди незаметно ёжился.

— Ваше величество, — без запинки кричал в исступлении Штарке, собрав все морщины на лбу, — как офицер резерва германской армии, я должен непрерывно совершенствоваться в способах ведения боя. Израсходовав все патроны и все меры к защите вверенного мне форта, я прибег к способу, позволившему мне отбить атаку превосходных сил противника. Принимая во внимание условность маневренного боя. . .

Штарке задохся. Кайзер ударил стэком по сияющему сапогу. Это был жест из его коллекции жестов, и все знали, что этот жест означает недовольство.

— Да, принимая во внимание условность маневренного боя, ты дал им холодный душ. Плохой психолог. . .

Комендант снова обрел голос. Он уже ревел от волнения и преданности:

— Принимая во внимание условность маневренного боя, я приказал поливать ряды атакующих струями горящего масла.

Тут наступила тишина, в этой тишине водяной анекдот перерастал в нечто большее, но было еще время оставить его анекдотом. Все зависело от положения стэка. Стэк поднялся, но не ударился о сапог, он повис в воздухе, потому что рука уперлась в бок и сложилась в кулак. Этот жест обозначал бодрое раздумье.

— Возможно ли это? — сказал кайзер. — Возможно ли жечь горящим маслом атакующие войска?

Анекдот умер. Осталось недоумение. Осталось ответить на безумный, собственно говоря, вопрос по всем правилам субординации, но вся свита не знала, что ответить. Кивера и каски зашептались. Анекдот возвращался снова во всей силе, теперь он делал смешным и кайзера.

И тогда кайзер, взглянув в глаза коменданту, скороговоркой сказал: «Благодарю тебя за службу» и повернулся, как на шарнирах, к свите, не успевшей даже переглянуться:

— А теперь мы разберем маневр, господа.

Сухо треснули ножки складных стульев, полевых столов и пюпитров, зашуршали карты, извлекаемые из полевых сумок и портфелей. Наступил торжественный час итога.

Штарке обтирал лоб и сгонял морщины, дрожа, как заведенный мотоцикл. Плотный и очень высокий офицер взял его за руку, приблизил тонкие бритые цинковые губы к его уху и сказал отчетливо:

— Вы изложите ваш проект точно и возможно скорее и вручите его мне. Понятно, капитан?

2. МУДРЕЦЫ

В доме профессора Бурхардта гости засиделись очень поздно. Виноват в этом был сам хозяин. Он говорил больше всех.

— Все обстоит благополучно, — между прочим, говорил он, — средняя продолжительность жизни увеличивается, число неизлечимых болезней падает, конституции государств год от году улучшаются. Все это делает закон превращения энергии, закон сосредоточения человека на пользу государства. Люди, занимающиеся сразу несколькими профессиями, ощущаются как случайности...

— Однако, — сказал влюбленный в свое дело Фольк, историк культуры, — однако, если мы

вспомним тысяча трехсотые годы, то из пяти самых великих художников: Чимабуэ, Иоанна Пизанского, Арнольфо, Андрея Пизанского и Джотто — четыре были одновременно живописцами, архитекторами, скульпторами, временами даже инженерами. Позднее живопись поглотила все. Законы Рима — Амстердама — Фьезоле, живопись, светотень и колорит, Рафаэль, Рембрандт и Фра-Анжелико охватили мир. Германские музеи приняли их в свои хранилища. Вы хотите сказать, что реализм завладел жизнью. Посмотрим же область той же живописи. Ван-Эйк был несомненно первый реалист. Конечно, не итальянцы. Итальянцы слишком много видели руин и старых статуй, чтобы быть реалистами до конца. Земля, которая под своим тонким слоем хранит то обломок барельефа, то отбитую руку, не может ощущаться до конца реально. Нидерландцам было легче. Там уверенно выставляли богатые купцы и их жены некрасивые лица и тяжелую роскошь одежд на картинах. Это, конечно, реализм. Но на тех же картинах Ван-Эйка, Петера Кристуса мы видим выпуклые зеркала, висящие на стене, в которых отражаются фигуры, удлиненные и искаженные, а у Петера Кристуса отражается даже то, чего нет на картине — отражаются улица и фигура на ней. Таким образом выход из реализма был найден четыреста лет тому назад, и вот возьмите путь от этих выпуклых зеркал до Кандинского и футуризма. Автопортрет Дюрера. Вы видите даже отражение окна в глазах, и все-таки это не реально. Если форма доведена до полной чистоты, то это уже не реально. Значит футуризм от бессилия? Может быть, и да. Я хочу сказать, что пути искусства исчерпаны, нужно начинать сначала. Великое потрясение войны может возродить германское искусство. Рост реклам и развитие промышленности вряд ли оплодотворят наших художников. Я могу учить как историк только прошлому. Правда, мы имеем еще изуми-

тельных некоторых мастеров, но это умирающее племя. Требуется свежая кровь.

Бурхардт взглянул на свои стены. С них смотрели на него зализанные портреты Лембаха, наивные аллегории Морица Швинда, тяжелобедрые валкирии Каульбаха, толстозадые кельнерши, выдаваемые Штуком за вакханок.

— Мы сами живем в могучий век, — сказал Бурхардт, — и я не жалею, что не живу во времена Джиотто или Генриха Птицелова. Если даже на целые столетия остается действующий термин — то содержание его изменяется совершенно. Читали вы послание папы римского католическим рабочим союзам? Он, конечно, против христианских союзов, где объединены католики и протестанты, и он решительно против всякой экономической борьбы. Воображаете, какая сумятица в рядах центра и какая свалка в христианских союзах, где одни спешат целовать Ватиканскую туфлю, а другие плюют на нее. Это уже не крестовые походы. Папа подчинен статистике. Статистика обняла все. Германия учитывает каждую мировую цифру и делает вывод. Я бы не сказал, что это вывод убийственный для нее. Мы можем смотреть на будущее самыми светлыми глазами...

— Простите, уважаемый профессор, — слегка покраснев, громко сказал Эрнст Астен, называемый друзьями за свою женственность просто Эрна. При его молодости бросаться в атаку на Бурхардта было почти неприлично, но пусть смотрит Алида и господа профессора, он должен напасть. — Я хочу сказать, пока массы находятся на границе нищеты, говорить об оптимизме странно. Возьмите рост самоубийств. Они не только не прекращаются, они неизменно растут. А смертность детей? В Германии есть области, где в первый год умирает около половины новорожденных.

— Я вам могу сказать, что это значит, молодой человек, — ответил Бурхардт, — не будем только

горячиться. Индустриальное развитие буржуазного общества стоит в самой близкой связи с увеличением самоубийств. Рост эгоистических стремлений, страшная борьба за материальное благополучие, голод и нищета, ненасытная жажда наслаждений, пониженное чувство государственной ответственности и патриотизма, особенно среди неимущих...

— Добавьте бессилие личности в лабиринте капиталистического города, — сказал Астен, — угнетение рабочих...

— Вы слишком молоды, чтобы перебивать меня, — Бурхардт повысил голос, — все, что я перечислил, я знаю как ученый. Бессилие личности я не исследовал. Это меня не интересует. Я даже скажу вам цифры очень характерные для успокоения вспыльчивых и увлекающихся молодых людей — в Германии на сто женских самоубийств из-за любви приходится только двадцать три мужских. Почему же мне не быть оптимистом? Закон жизни отбирает сильнейших. Мы, германцы, не боимся воздействия частных фактов. Мы воспитываем свою волю не сомнительным самоистязанием славян, не арифметической истиной латинян и не спортивной мускульной логикой англичан. Вспомните французского кумира Вольтера, говорившего, что в Лондоне сто религий в одном соусе, а в Париже сто соусов и ни одной религии. У нас есть религия, у нас есть страна, у нас есть мировая задача. Что же значат частные факты? Молодой человек, — Бурхардт усмехнулся, — в европейских государствах смертная казнь, как правило, производится при помощи гильотины, так будет вам известно, молодой человек, что в Пруссии до сих пор употребляют простой топор. Простой топор. И я уважаю палача не за его искусство, а за то гражданское мужество, какое дает ему такую уверенность, что его рука не дрожит. Германский палач воспет германской поэзией, и в этом есть нечто от национального духа, как мы его понимаем. Я только объективен, как должна

быть объективна наука. Последний съезд криминалистов признал смертную казнь в системе европейских законов совершенно необходимой. Наука знает только последовательность, молодой человек.

— Позвольте мне, господин профессор, — сказал юноша с квадратным лицом, иссеченным шрамами, — я слышал недавно доклад уважаемого доктора фон-Троппау о том, что Америка открыта не Колумбом, а германских выходцем Христианом Мюнстерским, отплывшим с дружиной исландских братьев Зенно из Рейкиавика задолго до Колумба. Мы сидели и слушали, потеряв головы от гордости.

— В этом нет ничего невероятного, — сказал Фольк, — если это даже и легенда, то вполне справедливая. Латинская раса в области действий всегда приходит на готовое. Возьмите хотя бы мысль Наполеона о создании по существу Карловой империи. Самая большая легенда двадцатого века — это сегодняшняя Германия. И когда эта легенда ворвется в жизнь, это будет самое величественное зрелище века. Конечно, не надо понимать меня вульгарно. Мы не будем подражать черногорскому князьку, который, чтобы сварить себе яйцо на завтрак, поджег Европу. Нет, речь идет об обновлении мира через германскую культуру...

— Это несправедливо, уважаемый профессор, — сказал уже совершенно красный Астен: — если все народы будут так превозносить свое, то они окажутся в ловушке, ослепленные ненавистью друг к другу; к счастью, этого пока нет. Я прошу прощения, что говорю так резко.

Бурхардт ответил:

— Народы, молодой человек, ничего не значат: значат люди, стоящие во главе народов — вожди народов и избранники. А народы разны сами по себе, и мы все горды тем, что мы — германцы, а не англичане. Эти люди, пробующие выдать себя за римлян, не больше как величайшие сутяги, торгующие даже свободой. Когда в Португалии была

объявлена республика, первым делом англичан, ссудивших португальскому королю пятьдесят тысяч фунтов, было вопить перед мистером Греем о вмешательстве. А их выборы в парламент? Знаменитое местечко Олд Сарум во время билля о реформах состояло из пяти лачуг. Десяток жителей посылал в парламент двух представителей, которых назначал поверенный владельца или его лакей. Было и такое доброе местечко, которое, собственно, принадлежало морю, так как море заливало его совершенно, с головой, и все-таки оно имело представителей. Хозяин берега уплывал сам-четыре на лодке, и выборы совершались. А в Буте, где на выборы, кроме шерифа и делопроизводителя, являлся один избиратель, он как презус делал перекличку, как избиратель сам откликался на нее, как население — подавал голос за себя и как регистратор — сам записывал, что выборы сделаны единогласно и что протеста никто не заявил. Менее ста лет назад процветали эти порядки. Нынешняя продажность политических партий Англии общеизвестна. Сесиль Родс купил английскую армию для завоевания Трансвааля, оплатив все издержки из своего кармана. Страна, которая тратит ежегодно на охоту за лисицами ради удовольствия и на скачки двести пятьдесят миллионов марок, не может быть страной, которая обновит мир. Британское презрение, которое позволяет англичанам гнать в могилу целые народы, неискоренимо. Я не говорю о таких мелочах, как то, что в суде англичанин будет всегда прав против цветного; я не говорю о том, что любой английский мальчишка может в шею вытолкнуть владетельного индийского князя со всем его багажом из вагона. Я говорю о рабском труде и о систематическом голоде. За сто лет войны всего мира пожрали пять миллионов человек, за десять лет, с девяносто первого года по девятьсот первый, хроническое голодание стоило Индии девятнадцать миллионов. Вот система управления, достойная подражания.

Астен сказал на ухо Алиде:

— Мне немного страшновато от нашего уважаемого Бурхардта...

— Эрна, не кажется ли тебе, что ты ведешь себя сегодня почти смешно? Почему ты все время вскакиваешь и перебиваешь? Я не понимаю тебя. Научись воздерживаться когда-нибудь...

— Когда-нибудь научусь, — сказал Эрна, — но я не могу, я не могу, когда они так спокойны, как будто все в том, чтобы сидеть и разговаривать, и какую они накапливают ненависть!

— Перестань шептать, на нас смотрят.

Профессор Бурхардт не смотрел на них. Он внимательным глазом окинул собрание. Маститый теоретик искусств сидел, нагнувшись над машинкой для обрезывания сигар, и тщательно ее изучал. Юный корпорант с квадратным лицом смотрел глазами бульдога, готового завизжать. Молчаливый художник, не сказавший за весь вечер ни одного слова, рассматривал швиндовского рыцаря, как будто узнавал в нем знакомого и еще не решил: поклониться или оставить вопрос открытым. Две молодые женщины рассматривали альбом. Советник магистрата старательно переваривал его речь. И тогда Бурхардт заговорил снова:

— Есть народы, сохранившие в зрелом своем возрасте привычки детей, вошедшие в основной исторический их характер. Они упорно их держатся и по временам платятся за это. Таковы хотя бы японцы. Они упрямы и нелогичны, смертельно капризны и непонятны нам. Один мой ближайший друг, профессор, недавно экзаменовал одного представителя этой нации. Молодой японец хорошо знал немецкий язык и очень плохо свой предмет. Словом, японец провалился на этом экзамене и исчез с горизонта. Прошло некоторое время, и мой друг получил следующее странное письмо от японской девушки — сестры этого студента. В письме стояло буквально следующее: «Вы опозорили нашу

семью и принесли ей несчастье. Я кончаю самоубийством и жду, что вы сделаете то же самое».

Слушатели не знали, как принять это сообщение. Эрна хотел встать, но Алида остановила его. Бурхардт смотрел холодно, как всегда. Казалось, он был даже рад, вызвав некоторое замешательство и смущение среди гостей, более глубокое, чем он предполагал. Никто, кроме корпоранта, не выразил своего мнения. Корпорант дико усмехнулся и изобразил японца, скосив глаза. Бурхардт равнодушно продолжал:

— Что касается Колумба, то среди наших ученых есть люди, о коих следует говорить с непокрытой головой. Никогда еще страна не имела такого количества умных, свободных и целеустремленных голов, как сейчас. Я упомяну только моего друга профессора Фабера, работы которого в области химии можно назвать путешествием в новую Америку. Благодетели человечества — явление довольно редкое, но те изыскания, которые произвел этот человек, и те открытия, какие он уже имеет в руках, способствуют делу мирного процветания больше, чем десять Гаагских конференций. Вот пример германского ученого. Он никогда не отказывался подвергать свою жизнь опасности, если опыт приносил добрый результат. Профессор Фабер обещал зайти сегодня после научного диспута. Возможно, что позднее время...

Дверь отворилась так, как будто человек слушал речь Бурхардта и решил прервать ее самым недвусмысленным образом. В комнату вошел гость, очень мягкий, улыбающийся, осторожный и вполне светский.

— Бурхардт, твоя речь походила слегка на разогретое мороженое, — сказал он, поправляя манжеты.

Бурхардт дружески расцвел; все знали, что профессор Фабер, большой любитель острот и шуток, сам не умеет острить

3. МОЛОДОСТЬ

Скверный аппарат превращал экран в арену действия смешных призраков. Люди на нем то становились похожими на серые макароны, то расплывались в серые блины. При каждой любовной сцене зрительницы ахали и говорили: «чудесно, чудесно», склоняясь друг к другу. Более простые щипали друг друга от восторга.

После драмы запрыгала и засияла разноцветная феерия. Толстый добродушный дровосек натыкался, возвращаясь домой, на сморщенную маленькую замерзающую старушку, лежавшую в сугробе под грудой хвороста. Дровосек звал жену, размахивая добродушными руками. Жена помогала ему привести разноцветную замерзающую старушку в разноцветный мирный их домик. Они кормили ее сытным ужином, отдавали ей свою постель и отказывались от медных денег, предлагаемых старушкой. Старушка плакала, трясла свои лохмотья и целовала им руки. Потом супруги засыпали. Приходило розовое с синим утро. Старушка, загадочно улыбаясь, подкрепившись кофеем и сдобными булками, вела супругов на снежную поляну, где цвели среди зимы необычайные цветы. По залу шли вздохи. «Это чудесно» — перекатывалось от стула к стулу. Такие цветы увидишь не в каждом цветочном магазине. Старушка благодарно набирала огромный букет невероятных цветов и дарила его супругам. Они улыбались и бежали домой, обрадованные на всю жизнь. Старушка смотрела им вслед недолго и превращалась в фею и роскошно исчезала среди громадных пышных клумб. Качались лилии. Дровосек вносил цветы в свою комнату и ставил букет на стол. Из цветов вываливались два толстых, как поросята, младенца. Супруги подымали руки к небу и благодарили судьбу. Потом шла хроника. Летел граф Цеппелин, и ломались автомобили на гонках в Реймсе. В зале вспыхнул свет. Фисгармония дре-

безжаще оканчивала свой каторжный урок. Многие сморкались. Многие дожевывали бутерброды и шоколадные плитки.

— Хорошенькая благодарность,—сказал Эрна,— подкидывать младенцев. Идем отсюда, Алида, ни одной минуты больше в этом жутком месте.

Они, смеясь, вышли на улицу. Они долго гуляли по городу, не отдавая себе отчета, какими улицами они ходят, им не хотелось останавливаться.

— Смотри, какие звезды, Эрна: ведь это же Сириус, а это несомненно Орион; как жаль, что мы рождены не под ними. Если бы мы родились под этими звездами, мы не были бы такими маленькими. Мы были бы как...

— Как профессор Бурхардт, — сказал Эрна, — или как профессор Фабер со всезнающей неподвижностью. Воображаю, какую Америку он откроет и какая это будет неподвижная и, как он, убийственная страна, несомненно с мягким климатом.

— Почему мы не могли смеяться там, в кино, как все, и почему я не хотела говорить «чудесно» и почему мне на вечере у Бурхардта временами хотелось плакать? Тебе не кажется, Эрна, что случай с японским студентом был не у ближайшего друга Бурхардта, а у него самого? Ты помнишь, как он медленно, с удовольствием рассказывал о самоубийстве этой девушки? Эрна, неужели она в самом деле покончила с собой? Как ты думаешь?

Они стояли на берегу пруда в парке. Иней висел на деревьях. Пруд был покрыт тонким, как лимонная кожура, льдом. Эрна поднял маленький обледенелый камешек и пустил его рикошетом. Камешек со странным, жалобным визгом долго подпрыгивал и бежал по льду, пока не исчез в синем тумане.

— Я думаю, милая, что профессор Бурхардт все рассказывал о себе. Разве он может рассказывать о чем-нибудь другом? Но от этого не легче. Не правда ли, моя маленькая?

Они прошли вдоль пруда и остановились у незамерзшего заливчика. Утки темной стаей теснились на воде, им было холодно, они вытягивали шеи, как бы высматривая гостеприимный ночлег. Эрна подошел к самой воде и сказал маленькую речь.

— Дорогие птицы! Вы никогда не будете профессорами, и в этом ваше счастье. Уважаемые утки, вы единственные в этом городе существа, не чувствующие страшной тяжести патриотизма, кризисов и угнетения личности. Вы ничего не знаете, чудные малютки. Вы не знаете, что преданный социализму студент Эрна Астен, враг предрассудков, вчера дрался на рапирах с корпорантом новой Германии. Эрна Астен, не любящий корпорантов и дуэлей, и шрамов на лбу и щеках, и рассеченных носов, проколол руку своему противнику, случайным ударом, примите это к сведению, почтенные птицы. Почему же корпорант дрался со мной? Только потому, что он не вынес моего замечания, что Америка открыта не германцем. Я обмотал свое туловище и ноги толстым пеньковым канатом, в кожаном переднике, с предохранительными очками на глазах, со специальным щитом, закрывшим сердце, сердце, принадлежащее этой девушке, а подставил свой лоб и щеки ударам рапиры и остался жив, дорогие птицы. Я стою перед вами и клянусь вашим зимним оперением, что этого больше не будет...

Утки закрякали.

— Ты глупый! — сказала Алида. — Мне холодно, пойдем.

Но они ходили еще долго по аллеям и разговаривали, прежде чем у Алиды замерзли ноги, и они подошли наконец к дому Штарке.

— Что делает твой дядя теперь? — спросил Эрна, смотря на освещенные окна.

Она удивленно посмотрела на него.

— Что он делает? Одно и то же. Он тушит пожа-

ры день и ночь и ездит по всему городу. Он все-таки брандмайор.

— Кто-то мне говорил, что он изобретает нечто вроде византийского огня.

— Ах, правда, у него есть работа, которую он прячет от всех нас. Да, он что-то изобретает. Но ведь ему скучно без дела, а потом он все время повторяет, что надо работать на пользу отечества.

Она замолчала. Они стояли и никак не могли расстаться.

В доме залаяла собака.

— Это наш Бек, — сказала Алида, —прощай. Он чувствует, что я пришла.

Они поцеловались на ходу, и Алида вбежала в дом. Большой пес положил ей лапы на колени. Проходя мимо гостиной, она задержалась на минуту. В гостиной стоял ее дядя, брандмайор Отто фон-Штарке. Он стоял вытянувшись, как на параде. Перед ним, как черный столб, красовался офицер в наглухо застегнутом сюртуке. Они оба скрылись за дверьми кабинета. Алида вспомнила, что портрет этого военного она видела неделю назад на странице еженедельного популярного журнала, только там он был в каске и при всех орденах.

4. ТИХИЙ РАЗГОВОР

Черты лица высокого военного, сидевшего в глубоком кресле, были как бы вырезаны из цинка. В них напрасно посторонний наблюдатель искал бы теплоты. Это отсутствие теплоты как раз и радовало Штарке. То, о чем он собирался говорить, требовало внимания и сугубого и холодного.

— Ваше превосходительство почтили меня своим личным посещением. Я готов вам рассказать все. Каким временем вы располагаете?

Генерал посмотрел на брандмайора так, точно он взвешивал рассказчика и думал по его весу определить вес рассказа. Затем он заговорил как бы сверхчеловеческим голосом, и Штарке представилось

поле, уставленное колоннами войск, конями и пушками — его ноги на минуту приросли к полу, и холодок рабского преклонения пробежал по спине. Он положил сигару и слушал, не шевелясь, генеральские слова.

— Прежде всего я хочу знать, какие наблюдения привели вас к столь неожиданному выводу. Вы изложите мне весь путь ваших мыслей, не торопясь и ничего не забывая. Столь любопытный факт освежения военного оружия, само собой подлежащий строжайшей тайне, должен быть известен во всей полноте нам и никому другому... Международное положение напряжено до отказа, я говорю это вам открыто, и, может быть, этой весной, этим летом... Словом, я вас слушаю.

Штарке дал руке генерала спокойно лечь на валик кресла и встал. Генерал легким кивком головы вернул его в кресло. Штарке сел. Он много раз рассказывал о своих бесконечных пожарах и в дружеских компаниях и на официальных докладах, но сейчас речь должна была итти не о том: речь шла о будущем, бурные волны которого уже подкатывали к его ногам, пена неизвестных дней взлетала до колен. Нужно было сосредоточиться и решиться войти в нее — это было страшнее, чем если бы он сейчас в одном сюртуке распахнул дверь и вышел на мороз и пошел бы к Большому театру покупать билет на «Зигфрида». И он распахнул дверь.

— Вашему превосходительству известно, что я всего только брандмайор, скромный защитник имущества, страж частной собственности перед лицом бессмысленной стихии, человек, который каждый день видит огонь, видит за месяц огня столько, сколько обычные люди не видят за всю жизнь. Огонь бывает разных цветов, разной силы, разного характера. Огонь — очень большой художник. Я видел, как он фантастически играет домами, обстановкой, людьми, прежде чем их уничтожить. Он выгибается и танцует, он марширует длинными жел-

тыми рядами, он прячется, садится на корточки и ждет, он ставит западню. Я хорошо знаю лицо огня и я всегда чувствовал в нем врага. Так, вероятно, рыбаки ощущают море. Я знаю силу, которую веду против огня. Я люблю моих бравых молодцов, взвивающихся в небо по свежесмазанной лестнице, я люблю водяные смерчи, и однажды при мне огонь по чистой случайности вылетел узким и длинным языком и свалил замертво моего лучшего штейгера, Людвига Кубиша. После него остался сын Иоганн — умный добрый мальчик. Я на всю жизнь запомнил этот десятиметровый язык огня и черный труп моего солдата. В ту ночь я не мог спать, я сидел до утра и курил. Утром весь пол был усыпан окурками сигар, но мысль, рожденная в этом дыму, была так велика, что я испугался, я прятался от нее в дыму, и утро застало меня на ногах, зеленого от изнеможения и все же радостного. Почему бы нам, сказал я себе, почему бы нам не заменить дорого стоящие артиллерийские орудия легкими брандспойтами, жгущими врага, почему нельзя заменить воду горящим маслом? Я представил наших храбрых ребят, выжигающих враждебную армию как негодную траву. Я верю в бога, ваше превосходительство, и я гордый человек. Мне не пристало быть смешным и по чину моему, и по смыслу службы, и по пониманию долга. Но если всевышний вручил мне эту мысль, если он сделал меня проводником своего дела, мог ли я отказаться от идеи, правда, вначале меня испугавшей? Вначале я отгонял ее как искушение, как дело, которое выше моих слабых сил, но мысль крепла и росла. Я сам не подозревал, какие длинные ростки она пустила во мне. И когда на маневрах мне приказали защищать форт всеми возможными силами, я не знал, что через десять часов боя я буду во власти моей навязчивой мысли, что отдам приказ поливать наступающих водой. Я вызвал пожарных на бруствер. Я фантазировал. Я вел себя как зеленый юноша. Они меня не

поняли, я уверен, они приняли меня за сумасшедшего. Вы были свидетелем, ваше превосходительство, этого боя — и вы оправдали меня.

Генерал смотрел, не отрываясь, на покрывшиеся мелким потом фиолетовые щеки Штарке. Он не двигал руками, и они лежали цинковые, холодные, серые на валиках кресла. Он чуть нахмурил брови, когда Штарке запнулся. Брандмайор продолжал:

— По вашему приказу я связался с людьми, которые мне были рекомендованы. Нет, мы не создали мира в шесть дней. Это заняло гораздо больше. Но я уже как молитву знаю закон моего аппарата. Легко воспламеняющееся масло выбрасывается под действием сжатого газа через брандспойт на глубину от двадцати до пятидесяти метров, в зависимости от силы и размера аппарата. Когда вы открываете кран шланга, масло загорается само, вырываясь большой струей, совершенно смертельной для человека. Мы жаждали начать опыты поскорей. Мы перебрали сотню сортов и комбинаций масла, сотни резервуаров, шлангов и брандспойтов. Мы давно оставили простую пожарную трубу, мы усовершенствовали образцы наших огнеметов, и тогда, к нашей великой радости, возник огнемет, страшный для врага и удобный для нашей армии. С каким трепетом мы приступили к первому опыту! Мы взяли десятки соломенных фигур, объемом в среднее человеческое тело, мы поставили их так, что они изображали атакующих. И, когда я скомандовал: «огонь!», я был близок к обмороку. Напряжение наших бессонных ночей сказалось. Мне показалось, что если я скомандую «огонь!» и огнемет откажется действовать, то эти соломенные чучела с яростным криком ворвутся в форт и передавят всех, перетопчут и будут танцовать на наших останках. И — о, чудо! — огненные струи зажгли их все. Они горели, трещали, и смрад закрыл солнце, но он нам казался благоуханием. Я шел через скрюченные соломенные черные тела, они падали со штурмовых лест-

ниц, они валялись во рву, я шел по ним, как жнец после убранной жатвы.

«И тогда мы повторили опыт и позвали врачей. И они смотрели во все глаза, и я задал им только один единственный вопрос: «Достаточно ли действие этого орудия, чтобы вывести из строя неприятельских солдат?»

«И один из них засмеялся, а другой сказал, что ничего более ужасного он не видел в своей жизни — и тогда засмеялись мы все...»

Генерал чуть пошевелил плечами.

— Как вел себя рекомендованный вам инженер Мориц?

Штарке почувствовал неожиданную слабость. Он понял, что генерал недоволен его выспренним, слишком отвлеченным изложением и возвращает его на землю.

— Инженер Мориц, — сказал Штарке, — вел себя как примерный патриот. Он посоветовал мне употребить густое масло, синее масло — смесь каменноугольной смолы и каменного масла, так как оно дает при горении очень хорошее пламя и очень большой дым, который запугивает врага...

— При помощи какого же газа вы бросаете огненную струю?

— Мы взяли азот. Кислород разорвал у нас четыре аппарата. Он негоден. Сжатый воздух тоже не представилось возможности употребить. Наша мысль работала все больше и больше. Инженер Мориц жил в Африке. Он рассказал мне, как негры поджигают сухую траву, и пылает вся степь. Когда пожар проходит, они подбирают и едят зажаренную в огромном количестве дичину. После этого я придумал новый вариант действий с применением огнемета. Местность, по которой проходит неприятель, перед атакой поливается горючим маслом, и, когда ряды атакующих попадают на нее, мы начинаем поливать их огнем из огнеметов, и все вспыхивает, и мы делаем настоящие огненные ловушки, мы распола-

гаем огнеметы по зигзагам, чтобы враг был охвачен со всех сторон. Трещащие, как саранча, тела неприятельских солдат — вот новая музыка боя. И, наконец, когда ударит исторический час нового Седана, ваше превосходительство, мы не забудем, что у нас в тылу могут оказаться лженемцы, будут социалисты всех мастей, пацифисты и революционеры, рабочие, которые выйдут на улицу с красными тряпками, чтобы воспользоваться нашими затруднениями. Представьте себе, ваше превосходительство, какие у них будут морды, когда они увидят перед собой прекрасно начищенную сталь моих огнеметов? После команды: «готовьсь» — улицы будут пусты.

В первый раз за весь вечер легкая усмешка протянулась по лицу генерала.

— Как называется общее боевое действие огнеметов в бою? — спросил он.

— Мы назвали его Фанг—Feuerangriff—огненная атака. Это хорошее слово — фанг, оно поясняет нашу мысль и служит предостережением.

— Держите ли вы дома что-либо из чертежей, относящихся к этому делу?

Штарке развел руками почти весело.

— Ни одной чертежной линейки. Все хранится, как вы приказали, в цитадели.

— Знает ли кто-либо, кроме вас, об этом? Ваша жена, племянница, прислуга?

— Знают в этом доме только двое: вы и я.

Генерал встал и прошелся по кабинету.

— Не кажется ли вам, уважаемый Штарке, — сказал он почти фамильярно, — что это один из маленьких эпизодов начала новой военной эпохи?

Штарке испытал неожиданный прилив радости. Это было не только одобрение: это была похвала, веская, как медаль. Он стоял, опираясь на стол своей фиолетовой, в буграх и жилах, рукой и улыбался, сам того не замечая.

— Моя жизнь будет оправдана, — сказал он, как школьник, вспомнивший давно забытую пропись.

Генерал перестал ходить по кабинету. Он подошел к Штарке и, взглянув ему в самые глаза, положил руку ему на плечо и так стоял минуту. Потом он медленно снял руку, подобрал лицо, так что весь цинковый его профиль заблистал сухим жаром, и сказал:

— Верховный шеф армии интересуется вашими опытами.

Они сели снова в кресла и беседовали целый час.

В передней Штарке сам помог генералу надеть шинель. Генерал стоял как серьезный манекен, не понимающий шуток и не позволяющий себе шутить ни в каких случаях жизни. И, однако, он пошутил. Он подманил пальцем Штарке к себе и, как бы колеблясь, стараясь придать словам наибольшую невесомость, сказал почти небрежно:

— Да, между прочим, ваша племянница должна прекратить знакомство с Эрнстом Астен. Мы не хотим этой дружбы. И потом у нас есть сведения...

5. СЦЕНА У МОЛЬБЕРТА

Весенний город лежал под ним. В городе была весна. В окно с высоты пятого этажа это казалось убедительным. Там, в городе, стояли острые колокольни с добрыми колоколами, добрые полицейские, указывавшие дорогу, там жили добрые граждане, пьющие и непьющие, автомобили дружески гудели, парки предлагали прогуляться в майской зелени их аллей, множество газет регистрировали добрую жизнь, в Пруссии добрыми топорами кое-кому рубили голову...

Эрна отвернулся от окна. Комната была завалена холстами, альбомами, папками, рисунками, кусками разноцветной бумаги и красками. Краски в тюбиках, краски на палитрах, краски, раздавленные на полу, краски на неоконченных этюдах ощущались им как некое недоброе, а потому дружеское начало.

Краски были неблагополучны, комната была неблагополучна, Алида была неблагополучна.

Самым неблагополучным и привлекающим глаз предметом был большой загрунтованный пустой холст, дышавший полной готовностью служить искусству, но не использованный мастером. Этот пустой холст, одинокий в своей жажде быть перевоплощенным, врезался серыми очертаниями в оживленную цветными пятнами комнату. Кроме того, он стоял на черном мольберте. Эрна смотрел на него, как на друга. Этот холст походил на его думы о будущем. Готовый характер ждал применения. В чьих руках были кисти и краска? В чьих? Эрна погладил шершавую ткань.

— Мне странно подумать,—сказал он,—что в такой весенний вечер два человека в огромном городе не могут ускользнуть от дурного государственного глаза. Я не хочу, Алида, чтобы за мной по улицам шагал человек, который не сможет сказать ничего человеческого, если я к нему подойду и спрошу: «кто дал вам право следить за мной?» Я боюсь, что они вокруг заболели шпиономанией. Я не уверен, что там, внизу, меня не клянет за долгое отсутствие такой машинный слуга полиции, механически переставляющий ноги и механически запоминающий мои движения. Это началось с того дня, с того вечера, когда ты устроила сцену дяде, и твое упрямство было странно наказано: я получил тень. Что они от меня хотят?

— Эрна, развеселись! Сейчас развеселись. Это чепуха. Ну, на что ты нужен государственному глазу? А может быть, ты, постоянный ниспровергатель порядка и протестант, действительно делаешь бомбы из старых консервных банок, как русские или болгары? Тогда признавайся и покажи, как это делается, и я тебе раскрашу эти банки под морские щи или под абрикосы. Ну, развеселись, посмотри, какой чудный гвардеец. . .

Она держала за край вытащенный из кипы рису-

нок, сделанный цветным карандашом. Рисунок не был кончен. Гвардеец в огромной каске рассматривал в гигантский монокль, нижний край которого поддерживался сухими бескровными губами, сидевшую на его лакированном ботфорте трехцветную козявку. Замысел был не совсем понятен.

Тут Алида, вертя рисунок, принялась хохотать.

— Я вспомнила сейчас одного такого молодого офицера со странной фамилией Шрекфус; меня познакомили с ним зимою в одном доме. Он был здесь проездом, но его родственники живут недалеко от нас. Над ним все хихикали, но осторожно, и он смутился, когда нас познакомили. Мне потом рассказали причину его смущения. Он был из числа офицеров, которых когда-то на маневрах мой дядя облил водой с ног до головы, пустив в дело по привычке пожарных вместо солдат. Ты представляешь себе таких вылощенных, самодовольных, гордых воинов, мокрых как курица? Они все время говорят: «железный крест, железный солдат», но они могут заржаветь от душа моего дяди. Сознайся, что он временами не лишен иронии. Когда я представляю себе этого лейтенанта заржавленным как гвоздь, мне всегда смешно.

— Алида, ну сядь, подожди, не смейся, не смейся... ну не смейся! Мне смертельно надоела эта военщина. Я никогда не буду солдатом. Меня освободили в свое время по болезни. Обидно, когда все смеются и не боятся анекдотов, из которых любой можно премировать за идиотизм. Этот Шрекфус, вероятно, любил говорить, как наши германские казарменные мудрецы, сто раз под ряд, что сначала был бог-отец, а потом ничего, а потом кавалерийский офицер, а потом ничего, а потом его лошадь, а потом ничего, а потом ничего, а потом ничего, а потом пехотный офицер. О, скудость воображения! Я ненавижу этот блеск начищенных сапог, эти звенящие шпоры, эти распяленные мундиры. Я, повидимому, прирожденный герой из серии новопридуманных

манных конфессионлозов. Я свободен от церкви, религии и государства. Тебе запретили со мной видеться. И здесь я уверен, что это работали они; я не знаю, но здесь не обошлось без этих высокобортных сюртуков. Они все мудрят, мудрят, обманывая всю страну. Мы ничего не знаем о их настоящей политике. Ну, к чорту их! У нас есть свои дела, и тут тоже надо разобраться, Алида. Ты уедешь, тебя посылают в Померанию посмотреть гусей и дюны, которых ты не видела с детства. Большое пренебрежение, не правда ли? Мой чудный профессор язвит со мной каждый день. Он говорит шутливо, как подобает разговаривать с субъектом пониженного развития. Он говорит: «из вас выйдет плохой ученый, плохой статистик, вы слишком много лишнего пишете на полях, вы слишком много читаете между строк. Вам нехватает хладнокровия». Да, мне нехватает хладнокровия, и, кроме того, все запуталось.

— Эрна, я сама думаю целыми днями, к чему это приведет. Я плохая художница, но я верю, что в мире свободно только искусство. Один мастер сказал, что художник должен писать не только то, что он видит перед собой, но что он видит внутри себя. Если же он не видит ничего внутри себя, то пусть он бросит писать то, что перед ним. Иначе картины его будут напоминать ширмы, которыми скрывают больных, а иногда и мертвых. Сам же он, этот мастер, писал только чистые и холодные ландшафты. Он всюду в картинах — и в парках с видом на горы, и на берегу Северного моря, и среди поля ранним утром — помещал худенькую угловатую женскую фигуру. Она же стоит у окна его ателье, а в окно видна мачта корабля. И всегда она смотрит, только смотрит, так тихо и с таким уважением, что менять в природе нельзя ничего, и от того, пожалуй, холод, нежность и грусть от сознания своей беспомощности. Конечно, наше искусство всегда как-то женственно, но все же свободно; если бы ты был художником, ты не чувствовал бы себя таким одиноким.

— Но, милая, они заставили бы меня рисовать и генералов и то, что они хотят. Что искусство прекрасно, глубоко и, может быть, женственно — это правда, но что искусство не свободно — это тоже правда. Самое сильное рабство — ведь это и есть то рабство, когда ты живешь в нем и его не замечаешь. Тебе кажется, что искусство свободно, но ведь это тебе кажется, и это не выход. Не будем об этом говорить.

— Эрна, я не хочу потерять тебя. Я обманываю сейчас всех, начиная с дяди и кончая ближайшими друзьями. Наш Фольк, что так пышно говорит о Фра-Анжелико и о прерафаэлитах, заметил, что я изменилась, что я стала совсем другая, и он намекнул, что это твое влияние. Но изменилось и еще что-то. И не только у нас с тобой. В доме дяди никогда не было столько военных, как сейчас. Ведь не сказки он рассказывает им в самом деле?

— Пересмотрим еще раз все сначала. Я еду в Берлин, ты в Померанию, но через два месяца, когда ты вернешься, мы встретимся и тогда убежим на все лето в горы. Какая сила — горы. Какая это мощь — горы. Я не такой кровавый бунтарь, как это кажется иным. Мы убежим в горы. Ты будешь рисовать. Я буду лазить по скалам, вечером мы будем сидеть в чудесном горном кабачке, полном горцев, где висят оленьи рога, трубки и ружья, предметы, полные простоты и природной честности. Хозяйка приветствует всех входящих своим «grüss Gott», ставит каждому пиво, приговаривая: на здоровье. Мы пойдем по снегам, по которым проходят только легкие козы, спускаясь с вершин, мы будем смотреть на громадные утесы, на ледники, мимо нас будут проноситься лавины, обдавая снежной пылью. Вся наша кровь, весь наш организм обновятся в этой изумительной ванне. Ведь здесь же можно задохнуться от отсутствия воздуха. Все пропитано тайным лихорадочным жаром. Недавно я встретил туриста, какого-то англичанина; он заблудился и

спрашивал дорогу: он прекрасно говорил по-немецки, и мы разговорились. Он сказал: «Ах, какая чудная ваша страна. Мне нравится голова статуи Баварии: какая огромная, свободная от мыслей голова... С нее видны чудовищные горизонты...»

— Ты плохой германец, — сказала с досадой Алида. — Я все-таки из военной семьи, и так нельзя говорить безнаказанно. Мы все родились на этой земле и как-то это чувствуем. Ты испепеляешь все.

— Подожди, Алида, подожди, этот англичанин еще сказал: мне нравятся ваши колоссальные магазины, скупающие товары прогоревших мелких фирм, выбрасывающие на прилавок вещи, удивляющие добротностью и дешевкой. Я в восторге от вашего уменья нажить марку на марку чисто домашним путем. Он сказал: мне нравится Рейн, он действительно, как струя вина на закате, но лампасы ваших бесчисленных генералов все же еще красивее. Больше всего мне понравился один памятник в Берлине. Там сидит на коне вверху, как полагается, император, и у ног его четыре льва. И первый лев обращен к Франции, он обнимает груду трофеев и, воинственно облизываясь, глядит вдаль; второй лев самый тихий, он полузакрыл глаза, потому что смотрит на юг — Италия все еще союзница; потом лежит славянский лев, обращенный к востоку. О, мистер, какое это чудовищное зрелище! Лев яростен, как будто его укусил скорпион. Ему не сидится на месте. И четвертый лев, готовый к внезапному прыжку, — не обижайтесь, сказал он, — смотрит в нашу сторону, он встревожен. И его глаза глядят через наш Канал — на Англию.

«— Почему вам нравится это? — спросил я.

«Он пожал плечами и дружески тронул мое колено. Я не отодвинулся, мне было все равно.

«— Почему мне это нравится? Потому что по крайней мере это откровенно.

«— И вы верите, что эти львы прыгнут когда-нибудь все сразу?

«— Если захочет укротитель; а потом, не забудьте, в каждой стране есть свои львы; они пока ищут блох, но это не основное их занятие». И он исчез в тумане, но какой туман, какой липкий туман остался после его речей! Алида, почему ты так смотришь?

— Я не понимаю тебя, Эрна: это мог говорить иностранец, но ты... разве все так просто? ты же учил меня сам, что жизнь слагается из очень сложных частей. Я боюсь, что ты запутался. Я боюсь...

— Чего ты боишься, Алида?

Она взяла свой плащ и накинула на плечи. Она надевала шляпу.

— Я боюсь, что я много буду думать в Померании, и только тогда мне будет ясен конец. Сейчас я ничего не знаю.

— Ты не уедешь в Померанию, — сказал Эрна, побелев, как лунатик. Пустой холст насмехался над ним своей готовностью служить, но где искать? Где краски? Серый холст ничем не мог помочь. — Ты не уедешь...

— Этого ты не можешь запретить мне, — сказала она, — а потом посмотри на часы; вероятно, уже семь, скоро придет Адольф, — ему нужна мастерская, и ты торопился сегодня вечером в библиотеку.

— Алида, —сказал он, но она остановила его.

— Милый Эрна, послушай. Мне кажется, что и тебе следует отдохнуть от тяжести многих мыслей. Ты, представитель германской интеллигенции, должен взять пример воспитания воли хотя бы...

— Хотя бы с лейтенанта Шрекфуса, ты хочешь сказать? с мокрого лейтенанта Шрекфуса, который хочет казаться сухим, всегда сухим, во что бы ни стало сухим.

— Хотя бы да, — сказала Алида, покраснев. — Я думаю, что ты переутомил нервы, тебе всюду кажутся призраки. Я не верю больше и в твоих сыщиков. А теперь пусти меня.

Они молча сошли по лестнице. Когда они вышли

из подъезда, человек на соседнем тротуаре неловко надвинул котелок на глаза и начал искать спички в кармане. Сигара у него действительно не курилась.

6. РАКЕТА И ПУГОВИЦА

Когда Алида проснулась, первое, что бросилось ей в глаза, была ракетка, желтая ракетка для тенниса, висевшая на стене перед ней, схваченная тисками. Красноватые нити жил вспыхивали на солнце. Было уже поздно. В саду пели птицы. Горячий воздух чуть колыхал занавеску.

В ее глазах еще стояли пейзажи Померании, хотя прошел уже месяц, как она покинула ее. По ночам ее преследовали серые дюны, с развевающимися вершинами сосен, и огромные серые волны, бежавшие на широкие, унылые отмели. Над волнами иногда проносились яхты. Вдали висел дым пароходов. И если смотреть сквозь ветви сосны в серую слюду волны, то в ней разбегалось лицо. И это лицо никак не могло собраться в единое целое, всегда отсутствовала какая-нибудь нужная деталь. И это лицо — было лицом Эрны Астена. Два моряка из яхт-клуба были по-разному похожи на него. У одного была походка, у другого — глаза и подбородок, а может, это только казалось.

Алида села на кровати, рассматривая ракетку. Сон оставил ее голову и освободил глаза. «Жила-была девушка, — сказала она, — девушка портила краски и заодно жизнь близким людям. Она не умела веселиться по-настоящему, и ей нехватало характера. И так шло время, и никто не жалел девушку по-настоящему... Однако, уже поздно», — сказала она.

Летний день жил за спиной этого загородного домика, куда она так счастливо убежала от городской паники. Какая безумная паника в городе! Неужели они все-таки будут воевать? Алида закрыла снова глаза. Она увидела вечернюю теннисную пло-

щадку, белые, мягкие, упругие мячи, летящие вверх и вниз, сухого рефери на белой лесенке. Мячи летели все быстрее, люди кричали со скамеек, она отбивала мячи, не уставая бегать между меловых квадратов, перед неподвижной сеткой. Потом подошел профессор Фабер и сказал своим веселым голосом, от которого всегда хочется съежиться:

— К вам очень пойдет костюм сестры милосердия, да, да, — это сказал он, и белые туфли его блистали, как меловая бумага.

Дядя уехал в Берлин и уже неделю не возвращался. Профессор Бурхардт пишет из Италии жене, что изучает норманские замки в Сицилии и что ему теперь ясно, что влечение германцев на юг всегда было исторической необходимостью.

Эрна Астен — почему сквозь четкую решетку ракетки она не видит его лица? Только три коротких письма за все время. Нет, она не поехала в горы. Он в горах один. Он один наедине со своими ледниками, скалами, снегами, горцами, и он пишет, что он несчастлив. Конечно, он приедет.

Она идет мыться. Дача совершенно пустынна. Проходя, она распахивает окно в столовой. Перед окном на ветке сидит лазоревка. Сад совершенно пуст. Садовник копается где-нибудь на грядах. Старуха ушла на рынок. Бека оставили в городе. Он нездоров. К нему вызывали врача. Неужели они все-таки будут сражаться? Люди рвали газеты на улице друг у друга. Газеты заполнили все. Она садится у окна, пьет молоко и ест бутерброды по-гамбургски. Ее научили в яхт-клубе: ломтик белой булки, ломтик шведского хлеба, по середине масло и сыр.

Кто-то хлопнул калиткой. Она слышит поспешные шаги по хрустящему гравию. Бешеный человек срывает дверь на балконе, так что целую вечность стоит грохот. В серой померанской волне вырастает лицо. Алида залила руки молоком. Она бежит навстречу, и в комнате, пустой и залитой летним светом ком-

нате, стоит человек. Он весь серый, он зеленовато-сер с ног до головы, как будто он стоит в волне дыма. Почему у него зеленая каска на голове? Так это же солдат. Что случилось, если солдат ворвался, как ураган, в дом и никто не знает, что будет дальше. Она смотрит в это лицо, на котором нехватает детали. Каска падает на стул, гремит, как маскарадная ненужная чепуха. Это Эрна, но у него нет волос на голове, он наголо обрит.

— Ракетка, — говорит она, сама не зная почему: — эти партии в теннис. . .

— Мы начали мировую партию, — говорит Эрна. — Я думал, что я тебя не найду, никогда не найду, что я умру на дороге. Мне дали отпуск на четыре часа, а уже прошло. . . Мне все равно, сколько прошло. Кажется, прошло три дня, пока я тебя нашел. . .

И тогда они больше не находят слов. Они их и не ищут. Она бросает руки ему на плечи, и ее волосы прижимаются к незнакомой одежде, и в грудь ее врезается пуговица, толстая пуговица, огромная пуговица с золотым орлом, обшитая толстым, зеленым, проклятым сукном.

Часть вторая

1. ФАНГ

Штарке никогда, даже в детстве, не любил леса, кроме того, он ненавидел деревянные постройки еще за то, что они сгорали при пожаре очень быстро, и все его знания и усилия старого борца с огнем были напрасны. Правда, лес, в котором он сейчас находился, мало походил на обыкновенный лес.

Прежде всего деревья не имели верхушек. Верхушки лежали на земле. Расщепленные гранатами стволы и разбитые ветви были, особенно на закате, печальны так, что при взгляде на них сжималось сердце. Они пострадали в самом деле ни за что. Ме-

стами огромные просеки образовались на месте, где плясали несколько часов под ряд снаряды тяжелой артиллерии. Часть леса пошла на одежду окопов и на блиндажи. Кусты были перепутаны проволокой. Ни единая птица не пела и не кричал ни один зверь.

Несколько тысяч людей притаились в лесу ниже поверхности земли, иные так и не подымались из своих нор. Вместо них на родину приходила узкая бумажка с кратким извещением: «На поле чести», но это было не поле, это был все же лес.

И в этом лесу стоял Штарке наедине со своей мировой идеей. Она была шире леса и выше самого высокого гренадера. Она наполняла душу Штарке особым пламенем, когда с наблюдательного пункта он смотрел в глубину леса и ждал той минуты, когда он, Штарке, станет народным героем. Колумб, на борту своего добродушного корыта, показался бы на ряду с ним простоватым мужичком, который должен был обмануть голых дикарей, тогда как перед Штарке, на расстоянии пятидесяти метров, скрывались вооруженные с ног до головы враги кайзера, и он сделает так, что они побегут, как стадо, забыв все и не рискуя сопротивляться. Америка Штарке — это путь в Париж, это конец войны, сожженной до тла. И войну сожжет он, Штарке, и никто другой.

Не так сильно ему верили в разных штабах, где сидели привыкшие ко многим головоломкам люди. Разве их чем-нибудь удивишь? А потом было столько неудачных изобретателей. Единственное оружие — честные гранаты, тысячи гранат, миллионы гранат, вот настоящие плуги, взрывающие поля войны. Нет, ему не верили до конца.

Штарке выпрямился. В темных квадратах леса сверкнули косые лучи, сошлись и снова сверкнули отдельно. Это вернулись разведчики.

В тесных впадинах перед бруствером у проволоки неслышно возились люди. Они старательно очища-

ли узкое пространство от обломков, от груды сухих ветвей, от камней. Они сами не знали, зачем это нужно. Кроме того, их могли застрелить каждую минуту. Они привыкли за долгие месяцы войны к скотскому образу жизни — ползанью на четвереньках, лежанию часами на животе; они, как крысы, рыли землю; как собаки, прятали в нее свои припасы; как быки, бежали с красными глазами вперед, чтобы поднять на штыки все, что будет встречаться. Отупевшие от постоянной, грязной, тяжелой работы, от страха, не допускавшего других мыслей, они ползали сейчас между бруствером и проволокой и, стараясь не шуметь, работали.

— Помешает ветер, — сказал Штарке.

— Последняя сводка: сила пять метров. Это пустяки, — отвечал наблюдатель.

— Чтобы ничего не было перед бруствером, — сказал Штарке.

— Там осталось только двое убитых на проволоке, но это не помешает.

— Посмотрим ступеньки, — сказал Штарке, — никогда нельзя быть спокойным, пока не проверишь всего.

Он поймал себя на том, что волнуется больше, чем ему полагается. Они прошли по окопу и маленькими электрическими фонарями нащупали ступеньки. Ступеньки были вырезаны тщательно и плотно. По этим ступенькам должны были его огнеметчики найти дорогу к славе.

— Поправьте эту лесенку, здесь можно поскользнуться, — сказал он, и сейчас же саперы осторожно, напирая на лопаты, начали сглаживать неровности. Они обрезали торчавшие корни тесаками.

Несколько человек спрыгнули в окоп. Земля сыпалась с их грязных плеч. Они только что, ползая между проволок, очистили проходы. Шинели их, замызганные и скоробившиеся, сейчас, еще порванные о собственную проволоку, представляли целую многострадальную повесть.

Штарке не обратил на них никакого внимания. Люди в его представлении всегда были слишком мягким воском в опытных руках государства. И воску этого было много, во всяком случае достаточно.

Тут он подошел к аппаратам. Закрашенные в защитный цвет, стояли детища его сердца и ума. Он погладил их. Он вспомнил, как несколько месяцев назад случайно попал в место расквартирования пленных. Вокруг него сидели и стояли французы, русские, бельгийцы, сербы, англичане. Низкие нары не могли вместить всех, и все же им всем хотелось лежать, и они лезли как тараканы, набивая все щели, и, наконец, нары не выдержали. Постройка была возведена в безбожно короткий срок. Нары не выдержали и рухнули. Все народы Европы барахтались с ругательствами в общей куче. Они вылезали один за другим из свалки и мрачно потирали ушибленные места. Штарке равнодушно смотрел на них. Ни ругань, ни мучительные гримасы, ни стоны не могли его вывести из себя. Наконец из-под нар появился англичанин, и, когда он встал, грязный, запыленный, мятый, он оглядел всю рухнувшую постройку и сказал язвительно (он скорее выплюнул, чем сказал), подмигивая на развал: Made in Germany. Штарке погладил вторично холодную сталь аппарата.

Он не мог ответить иначе сейчас этому неожиданному воспоминанию. Что у него есть, кроме двух слов: кайзер и аппараты? Может быть, Штарке вообще не существовал? В дымном воздухе окопа среди людей-теней стояло нечто в капитанских погонах; сосредоточенная энергия, воображение, обернувшееся предметностью, — он не замечал, как равнодушно смотрели на него из своих нор окопные люди, он видел только тьму леса, где иногда разноцветные молнии чертили один и тот же шифр: война, война, война.

Штарке и его свита осторожно курили сигары,

Они прятали их, как новобранцы, в руку и закрывали рукавом. Сейчас эти сигары вошли в словарь войны, потому что при слабом свете их красновато-злых, раскаленных огрызков люди проверяли манометры. Коленчатые отростки азотных бутылей были серы и неподвижны и казались безобидными. Их могли найти мальчишки среди мусора и поиграть ими. Здесь они были на положении мировых статистов. Малейшая неисправность сгубила бы всю их карьеру.

— Сверим наши часы, — сказал Штарке.

Красный блеск пробежал по шести стеклам и удостоверился в одинаковом положении всех стрелок. Все стрелки, как одна, держали свой путь, но, когда Штарке пыхнул снова своей сигарой, она вырвала из ночи белое пятно, на котором стоял красный крест.

Красный крест был ни при чем; он был даже не совсем приятным намеком. Человеку с таким знаком нужно было сказать что-то начальственное, чтобы он не загордился своим одиночеством и независимостью от начальства.

Сигара исчезла, прикрытая рукавом, и Штарке спросил санитарного унтер-офицера:

— Если брызги холодного масла попадут в глаза...

— Так точно, мазь от ожогов и кокаин...

Штарке стоял против огнеметчика. Сколько труда он положил на этих людей, рабочих и служащих, не подозревавших за всю свою мирную жизнь, что они понадобятся мрачному изобретательству Штарке. Сколько он положил труда, чтобы сделать из них нерассуждающих, забывших иные привычки рабов огнеметных аппаратов... Не всегда это удавалось. Высокий солдат стоял у блиндажа, вытянувшись, как будто его подвесили за воротник на крюк.

— Лейтенант, — сказал Штарке, — проверьте вооружение.

Лейтенант направил свет фонаря на посеревшее лицо с водянистыми глазами. Лицо не входило в вооружение. Оно было совершенно безоружно перед этим желтым лучом фонаря и черными руками своих повелителей. Лицо было нейтрально. И это взорвало лейтенанта. Как на аукционе, сопровождая тихое ворчание невидимыми ударами молота, лейтенант выкрикивал про себя, на самом деле он спрашивал вполголоса:

— Котелок...

Котелок висел сбоку, он показал свой выгиб и кольцо и уступил место брандспойту с рукавом.

— Мешок для инструмента на шейном ремне...

— Мешок...

— Один комплект прокладок...

— Прокладки. Так.

— Клещи для труб...

— Клещи.

— Кольт.

— Кольт.

Лейтенант перенес свет:

— Сумка на портупее. Откройте сумку.

Солдат исполнил приказание, оставаясь напряженным. Он чуть не качался от напряжения. Впрочем он мог качаться и от усталости.

— Запасная вилка зажигателя, — сказал лейтенант, — покажите зажигатели. Что вы с ним сделали? Он сырой?

Штарке вздрогнул. Солдат закачался, как будто его ударили.

— Я сидел в блиндаже, — сказал он. — В блиндаже, господин лейтенант.

— В блиндаже, будьте вы прокляты! вы сидели в воде, чорт возьми! Сейчас же перемените зажигатели. Идите сейчас же!

— Фамилия? Его фамилия? — задыхаясь, пробурчал Штарке.

Солдат обернулся:

— Ганс Чемландер.

— Лейтенант, когда кончится бой — лейтенант, мы проверим всех после боя и всех таких в пехоту, обратно в пехоту, к чорту!..

Штарке вспотел при мысли, что со всеми зажигателями может произойти то же самое. Тогда он положит свое брюхо на французскую проволоку и умрет. Высочайший шеф армии интересуется этими опытами... Высочайший шеф — ради этого стоит умереть...

— А факелы...

Факелы были тут же, факелы стояли в стойке. Солома, окрутившая палки, была суха, действительно суха. Штарке смягчился. Он осматривал людей поодиночке. Все было в порядке. Порядок мог быть лучше, но тут уже ничего не поделаешь.

— Огневая струя состоит из горящего масла и горящих масляных газов... Соберите людей, — сказал Штарке.

Команды стояли на второй линии, их было совсем немного. Штарке сказал несколько слов. Собственно говорить не стоило, но устав предписывал разговоры. Душа Штарке не имела, кроме устава, никакого символа веры.

— Солдаты, — сказал он, — бодрость, бодрость прежде всего. Вы, спортсмены войны — вы должны стать чемпионами. Бейте их в глаза, сожгите им морду, смотрите, чтобы не было протечки масла, помните команду «стой», останавливайтесь сразу, не зарывайтесь, наше дело — дело чести. Через заградительный огонь несите во что бы ни стало, во что бы то ни стало огнеметы. Вперед, вперед, вперед!

Солдаты стояли, как отобранные к закланию молодые быки. Они здоровые ребята, они пронесут огнеметы через заградительный огонь. Они спортсмены — пусть будет так, в чем дело? Этот пожилой человек мог говорить все, что приходило ему в голову. Это ведь не меняет дела. Дело состояло в том, что нужно выйти из окопа и поливать первый

раз в жизни людей горящим маслом. На празднике в деревне, конечно, бывает веселее, чем здесь, но там не увидишь такого зрелища. Кроме того, за это могут дать отпуск или бело-черную ленточку. Попробуем!

Штарке ощутил прилив нежности. Он отыскивал на дне своего сурового сундука красноречия особые слова, которые, несколько заикаясь, сошли с его языка. Ему захотелось приласкать этих людей, как будто он стоял перед пожаром, перед огнем, куда лезут его пожарные, и лучший штейгер уже погиб.

— Ребята, — сказал он, — вы получили сегодня колбасу, да, правда, хорошую колбасу, вы получили сегодня сигары и какао, вы получите завтра славу, которую еще никто не имел. Бодрость, бодрость, прокричим в душе трижды верховному шефу армии: ура.

Кричать было нельзя. Кричали ли в душе солдаты ура — Штарке не сильно беспокоило. Он верил, что они кричали. Что они съели колбасу, выпили какао и выкурили сигары — это он знал. То был особый паек для невиданной специальности.

Штарке протянул руку к каске и резко опустил ее. Ходы сообщений поглотили людей. Штарке долго курил сигару. Часы на руке выросли в огромный циферблат, качавшийся и стучавший на весь лес. Легкая перестрелка часовых проходила через него полетом одиноких ос.

Стрелка качнулась и замерла.

Пора!

Это могли сказать сотни людей одновременно. Светящийся снаряд прошел по лесу и, расхлестывая мрак синим светом, сгорал, обкуривая пространство. И сейчас же люди устремились вверх по ступенькам. Сквозь лес шли облака, через которые с белым свистом летело горящее масло. Оно горело на блиндажах, на ветвях, на столбах с проволокой, на пулеметных гнездах, оно горело на шинелях, на винтовках, на шлемах, шипя и свертываясь.

Раскаленные струи настигали врага на бегу, и уже горели мясо и кожа, и уже лопались глаза и жилы. В лесу поднялся вой, сквозь который шел Штарке, непоколебимый выходец из легендарных саг. Сага развертывалась перед ним. Его огонь сжигал все. Западня действовала. Ослепляющие струи текли безостановочно. То они взвивались вверх, то, переменив цель, сбоку ударяли по неприятелю, ночь ожила вспышками гранат и гулкими ударами, непонятными, как все в ночном бою. Западня захватила врага врасплох. Однако враг пробовал еще стрелять без прицела, с отчаяния.

Перед Штарке упал огнеметчик, сраженный, видимо, в голову, так как он поднял руки и не донес до лица. Из пробитого пулей аппарата вытекало масло. Горящий аппарат, казалось, корчился на земле, извергая живые внутренности. Штарке нагнулся и закрыл кран. Он стал легким как самый молодой солдат его роты.

Огонь жег лес, людей и все препятствия. Враг или умер, или выл от страха, закрыв глаза. Люди закрывают глаза, они больше всего боятся потерять глаза, они до конца хотят видеть все.

Пехота бежала рядом с огнеметчиками. Штарке соскочит в окоп. Это был французский окоп. Под бруствером и над бруствером лежали люди, но они не были людьми. Они были теми черными обугленными мешками, соломенными куклами, в какие играл Штарке, когда его огнемет переживал первые огненные дни юности.

Вокруг Штарке бесновалось масло. Казалось, оно только и ждало этой ночи, — всю свою долгую жизнь бок-о-бок с человечеством оно ждало этой ночи, чтобы прыгать, свистеть, жечь, истреблять. Надо было подавать отбой. Надо было не дать изнемочь этому могучему потоку.

Наверху над окопом появился человек, и три струи обдали его, как таракана. Он завертелся на месте, стал подпрыгивать. и пламя крутилось на

нем, точно щекотало его со всех сторон. Человек скакал на одной ноге, и при свете горевшей одежды видны были его горевшие волосы и черный лоб, широко раскрытый рот, беззвучно захлебывающийся от горя. Человек пропадал. Вдруг он начал трещать как хлопушка. Огонь дошел до подсумка, который он не сумел сбросить. Подсумок вспыхнул, подсумок взорвался, пламя взметнулось к лицу человека, серому, как пемза. Взорвался второй подсумок, и человек свернулся, как бабочка, долго кружившая в ламповом стекле и, наконец, упавшая пеплом.

Гренадеры с гранатами в руках стояли у входа в блиндажи и предлагали сдаться оставшимся в живых. Бой был кончен. Аппараты гасли один за другим. Французские пушки били по окопам, и снаряды швыряли обугленные тела, ставя их на голову, перевертывая и разрывая на куски, чтобы убедиться, что действительно произошло нечто необычайное. И тогда начали приводить пленных.

Мимо Штарке прошел толстый французский сержант, кровь текла с него, как с барана. Он твердил одну и ту же фразу:

— Так воевать — это дермо, это дермо, как это называется...

Штарке остановил его и взял за руку.

— Это называется фанг, — сказал он, но француз скинул его руку и пошел вперед, обливаясь кровью, твердя все одно:

— Так воевать — это дермо, это дермо, как это называется.

2. ВОДА И ОГОНЬ

Это не было просто попойкой, собственно говоря, это была вовсе не попойка. Офицеры частей особого назначения сидели на разрушенных диванах и на уцелевших стульях. И посреди них возвышался Штарке. Он возвышался, развернул плечи, и серые брови его, и загорелые до полной багровости щеки, и неподвижность фиолетового подбородка, и

тяжелые, медленные движения рук делали его похожим на нечто богоподобное. Такое богоподобное существо из военной мифологии пило большими глотками вино, потому что оно имело право пить.

Вино было завоевано, ночь была завоевана, кресло, в котором он сидел, было завоевано. Это называлось жизнью, другой не было. Стаканы стучали. Все пили, крича:

— Тысяча четыреста пленных, два полковых командира, шестьдесят восемь пулеметов!

Под лейтенантом сломался стул, но он пересел на ящик с санитарными принадлежностями. Он не упал.

— Четырнадцать орудий, склады ручных гранат!

Все топали ногами от удовольствия. Штарке разбил стакан об пол. В его глазах сиял четырехугольный огненный загон фанга. В этом слове было даже нечто восточное, китайское. Можно было изогнуть это слово в огненного дракона, испепелявшего все живое. Только этого и хотел Штарке. Но сегодня он был великодушен. Он мог делиться победой.

— Слава пехоте, — сказал он, — слава кротам, роющим вражескую землю. Слава артиллерии, кроющей их с перцем... Шеф армии...

Все вскочили и пили, стоя. По темным лицам ходило пламя керосиновых ламп и фонарей, висевших на веревках. Трехцветное пламя делало каждое лицо трехцветным: красным от загара, черным от возбуждения и пятнисто-золотым от вина. Штарке был багров, как никогда.

— Последнее донесение французов, — закричал человек с перевязанной рукой, — пресвятая дева и святая Елисавета ранены шрапнелью... Плевал я на этих баб. Пророки валяются в обломках. Да здравствует святая Берта и ее сорок два сантиметра, хлопающие их по боку. Колокола слетали к чертям. Святой Ремигий сбежал — от него не нашли следа. К чорту все соборы! Пьем за здоровье артиллерии!

— Они засовывают своих наблюдателей во все дыры. Все дороги кишат их шпионами. Они добивают раненых. Отравляют колодцы.

— Резервуар с маслом, шланг и брандспойт очищаются сырым бензолом, — сказал Штарке, — дорогу огнемету, пришли новые времена...

Денщики и вестовые, серые большие обозные лошади, убирали битую посуду с ящиков, изображавших стол.

— Прошу слова, — сказал лейтенант. Его скулы ходили от возбуждения. В клубе гольфа он считался лучшим оратором. Он был возбужден так, что мог взлететь над столом от возбуждения.

— Слово лейтенанта Геринга...

— Лейтенант Геринг...

— Пришли времена, о которых мы мечтали; играя в гольф, мы, в сущности говоря, играли все время в войну. Капитан Отто фон-Штарке, украшение германских специальных войск, начал величайший матч огненного гольфа. Подымаю тост за открытие новой эры, за французскую партию капитана Штарке.

Он шагнул и зацепил шпорой рваный ковер. Серый, как лошадь, вестовой нагнулся и освободил его ногу из западни.

Стаканы наполнялись. Трехцветные лица уже походили на флаги, раскачивающиеся на выступах балконов, флаги, встречающие победителей. И тогда все услышали шум. Шум шел с улицы — от открытых пространств, из ночи, за разбитым домом, в котором они сидели, не снимая шинелей, обвешанные оружием. Они вышли толпой на улицу.

Хлестал дождь. Дождь хлестал уже много часов. Они его не замечали. Отдыхающий имеет право не замечать ничего. Теперь иные из них, с радостью раскрыв рот, ловили воду, чтобы освежиться.

Перед ними шли войска. Тесными рядами, не в ногу шагали солдаты, солдаты, солдаты. Никого кроме них не было вокруг. Дождь пробил их на-

сквозь, он стекал со лбов, он шел тоненькими струйками вдоль спины по голому телу, он забирался в вещевые мешки сквозь незаметные отверстия, он уже шипел в сапогах, он расстилал лужи перед ними, он бил по глазам. Мокрые руки держали мокрые винтовки, мокрые груди вздымались отвратительным кашлем или проклятьем.

Месиво мокрых человеческих тел, стремившихся с неотрывностью лунатиков с закрытыми глазами, спотыкавшихся, было бесконечно. Точно море вернуло всех утопленников, и они, сплоченные общей гибелью, не могли оставить друг друга. Огромные сапоги, огромные шинели, огромные каски, казалось, сами тащили легкий студень человеческих тел; вещи завладели этими людьми, их повертывал уже не голос команды, а свисток. Бинты висели на шеях, на головах, руках и ногах. Дождь размыл их и превратил кровь, вату и марлю в холодный каркас, плотный и мучительный. В рядах шли легко раненые, оставшиеся в строю. Люди сквозь зубы сплевывали кровь. Грязное бурое небо над их головой резали холодные пилы прожекторов, и тогда дождь еще сильнее набрасывался на идущих, точно находил недостаточно мокрые отряды. Люди текли безостановочным потоком, и, если смотреть им на ноги, то откуда-то со дна души подымалась тошнота.

Лейтенант Геринг, возбуждение которого требовало выхода, закричал в эту ночную, дикую армию привидений:

— Да здравствуют баденцы!

Никто не ответил, никто не оглянулся. Дождь заглушил крик. Геринг и другие кричали поочередно, как исступленные:

— Да здравствуют вюртембергцы, баварцы, саксонцы. . .

— Да здравствуют пруссаки, ганноверцы, гвардия. . .

Они кричали, как помешанные, в лицо проходя-

щим, и у этих проходящих действительно было одно лицо, изможденное, серо-зеленое, мокрое лицо с глазами, ушедшими внутрь, как бы спасающимися от дождя. Возбуждение при виде этих молчаливых фигур, загромоздивших ночь, бесконечность их мрачного шествия, переливавшегося, как поток, из улицы в улицу между развалин и воронок от снарядов, доводила компанию Штарке, как игроков, только что вышедших из азартной игры и ставших свидетелями чужой азартной игры, — до неистовства.

Худощавый, дрожащий от холода офицер подошел к ним.

— Все, что осталось от Шрекфуса, — сказал он, — как бы вынимая откуда-то издалека свое имя, — нет ли у вас папирос?

Шесть портсигаров щелкнули ему навстречу. Он взял папиросу и держал ее, не закуривая. Его задевали проходившие, он не обращал внимания. Он дышал, как лошадь, идущая в гору, и пальцы его дрожали. Струйки воды выбегали из рукавов шинели.

— Из всей роты осталось тридцать шесть человек, семь рядов проволоки, волчьи ямы.

Его не слушали, он говорил сам с собой, он подводил итог, не думая: проволока, проволока — по двадцать человек в каждом ряду.

Папироса вспыхнула и с шипеньем погасла. Мрак около его лица сгустился. Он бросил папиросу и пошел дальше, и ноги его тонули в грязи почти до колен.

Серые стада людей все двигались и двигались. Иных поддерживали товарищи. В интервалах хлюпали лошади. Всадники, закутанные в стального цвета плащи, старались не шевелиться, зная, что единственное сухое место в мире — это седло. Ниже седла начинался океан. Противно было касаться мокрой гривы, мокрого повода, собственных рук.

Штарке смотрел поверх их, туда, где была только тьма, которую резали белые пилы прожекторов. Пе-

ред его глазами ходили ослепительные, гибкие щупальцы огнеметов. Вражеские пророки валяются в обломках. Вчера ликвидировали деву Марию, парижанку с черными волосами и маленьким французом на коленях.

— Огнемет, господа.

И все повиновались ему. Вся толпа пошла закоулками под дождем. Он вел ее, как хозяин ведет гостей показывать свое поместье, он шагал, как пророк по завоеванной земле — показать меч, покаравший ничтожных.

Часовые стояли размокшими грибами. Было странно, что винтовки сохранили какую-то твердость в этой жидкой, как месиво для свиней, ночи.

Дежурный с воспаленными глазами рапортовал, держа перчатку у каски. Он мог держать ее целое столетие. Штарке наслаждался этой изогнутой мощной рукой. Фонарь держал вестовой. В глубине старинного парка спали огнеметы. Он знал их наизусть.

— Огнемет № 10, — приказал Штарке, — пробное испытание.

Дождь не переставал. Казалось, что деревья выйдут из почвы и упадут на жидкие стены домов. Огнемет стоял под деревянным навесом. Он жил, как холостяк на даче, в маленьком сарае. Команда выстроилась у огнемета. Толпа офицеров переступала с ноги на ногу. Вино переставало греть. На шпорах висели комья грязи.

— К огню — готовсь, — командовал Штарке.

Люди или привидения переместились словно в балете. Бурная чернота ночи колебала пустынный парк. В такую ночь можно делать все. Человечество не имеет голоса в такую ночь. Где оно? Да есть ли оно вообще, это человечество? В тех серых толпах, переливавшихся сквозь ночь, нельзя было различать старых и молодых, умных и дураков, артистов или рабочих, все они были одинаковы. Ими правил свисток. В интервалах шли лошади. Прожектора

указывали места их смерти. Никто не верил, что ночь кончится. Тьма лежала по горизонту.

— Смирно, — командовал Штарке, — огонь!

Круг дыма взлетел вверх и ушел вперед. За ним последовала трещащая, сильная, как кулак, толстая огненная жила, рассекавшая пространство. Острие этой жилы, светясь в черном дыму, как тысяча раскаленных проволок, вонзалось в деревья, они шипели, покрываясь смертельными ожогами, кусты трещали, в ночном мраке открывалась трещина, пробитая страшной струей.

— Стой! — голос Штарке дошел до черных манекенов у аппарата. Огонь погас.

— Держатель освободи!

— Продуй...

Лейтенант Геринг, лучший оратор в клубе гольфа, больше не ощущал действия вина, но он забыл и все речи. Нервная лихорадка перебирала кости. Губы его, плотно сжатые, старались удержать стук зубов.

— Князь тьмы, — сказал кто-то за его спиной. Штарке усмехнулся. Он уже знал, что это прозвище идет за ним через штабы и обозы, через вокзалы и сборные пункты, через окопы и блиндажи, оно было, как светящийся транспарант, оно нравилось Штарке, он сделает его своим знаменем.

— Устрашая врагов, иди к победе, пусть им останутся только глаза — оплакивать свое поражение. Глаза останутся, ведь они всегда закрывают их руками, когда на них летит его пламя, пламя Штарке.

Чтобы согреться, офицеры поспешно и громко говорили:

— Да, это изобретение...

— Я бы не хотел быть французом.

— Тысяча четыреста пленных, четырнадцать орудий в пять минут.

— Нужно делать полки этих игрушек, тогда дело пойдет по-настоящему.

— А если у них?

— Что у них?

— А если и французы?..

— Они — они не успеют обернуться, как все будет кончено.

— Дежурный, — сказал Штарке, — я забыл — Ганс Немландер.

Поднятая рука в перчатке, могуче изогнутая, замечательна. Символ дисциплины и порядка. Она может висеть у каски целые столетия, но два пальца перчатки пусты.

— Так точно. Ганс Немландер не может быть откомандирован в пехоту. Он убит третьего дня.

3. КНЯЗЬ ТЬМЫ

Князь тьмы! Сколько уже недель работают его огнеметы, сколько уже цифр прибавилось в донесениях, сколько обугленных трупов, закопанных в воронках и окопах, в глубине пулеметных гнезд, среди разбитых бревен, среди лисьих нор — но ведь это только начало. Этого мало. Мысль Штарке работает днем и ночью и только в одном направлении: чего они медлят, эти штабы? Почему они всегда, всегда тормозят, не верят, сомневаются, эти господа? Париж был бы давно в немецких руках, выход на Ламанш — тоже. Англия была бы сломлена, если бы они поторопились, но они никогда не торопятся.

Эти люди, кажется, гордятся своей медлительностью. Они как будто ждут, что у него появится соперник, человек, который отобьет его славу, его труды. На что они вообще надеются — на то, что французские заводы остановятся, на то, что Англия испугается своего будущего и пойдет на мировую? — нет, они положительно непонятны.

Мотоцикл отлетел в сторону, чтобы пропустить медленно идущий грузовик с мотками проволоки. Проволока свешивалась с него, угрожая во все стороны рыжими иглами. Они затягивают всю армию

в этот колючий корсет, они роют землю днем и ночью, они выпускают тысячу снарядов, чтобы вырвать у врага несколько метров, на которых трудно дышать от пороховых газов и неубранных мертвецов. Нет, они положительно делают не то.

Майор — уже майор — Штарке приподымается в каретке. Тяжелый мотоцикл лавирует между развалин и останавливается, недовольно треща. Большой зеленый бенц со штабным значком зарылся в край воронки передними колесами и не может выбраться. Десяток солдат потеет около него. Мотоциклист останавливается — прохода нет. Штарке смотрит на вылезающих из бенца людей с ненавистью.

— Всегда поперек дороги, всегда поперек дороги...

В группе офицеров в новеньких блестящих плащах, в ослепительных гетрах, в группе этих сытых красавчиков, вырабатывавших годами решительное выражение лица и надменность поступи, глубокомысленные морщины и снисходительную бледную улыбочку, — он видит штатских.

Они тоже таскаются на фронт. Читать лекции. Смотреть и умиляться на вшей, на солдатские бордели, на окровавленные бинты, на свежих официальных героев.

Майор Штарке лишается спокойствия, бенц кряхтит под дружным натиском серых рабов, стоящих по колено в воде и грязи. Один из штабных недовольно смотрит на часы.

— Мы опаздываем, профессор, — говорит он человеку с круглым симпатичным лицом, такому милому весельчаку, которому на фронте только и дела, что разъезжать в штабном автомобиле и завтракать в штабе. Может, это представитель нейтральной державы? Тогда его нужно облизывать со всех сторон, чтобы к нему не пристало ничего мрачного, ни одной кровавой пылинки.

Тот, кого назвали профессором, смотрит сквозь

автомобильные очки зеленоватыми глазами в зеленоватое небо и пожимает плечами.

— В крайнем случае мы пересядем — мы вам сейчас устроим.

Штабной оглядывается с чрезвычайно умным видом.

— Профессор Фабер смог бы воспользоваться мотоциклом, — говорит бритый под англичанина офицер, указывая глазами на Штарке.

Штарке не слышит этой вопросительной фразы. Он презирает штатских сейчас, как никогда. Он выключает слух. Профессор подымает на лоб автомобильные очки.

— Сколько времени займет эта операция с нашим автомобилем? — спрашивает он.

— Фельдфебель, сколько времени вы будете копаться? — кричит штабной.

Лицо старого служаки сосредоточивается, точно его сейчас ударят. Он накидывается на своих серых рабов, и те бросаются из последних сил, без крика, пот выступает под перепрелыми шинелями, они существуют сейчас только для этой машины, для этой группы штабных — потом им скомандуют: «вольно», потом велят разобрать винтовки.

Они выкатывают бенц на дорогу, шофер садится на свое место, и его меховые перчатки ложатся на руль. Все в порядке. Штаб снова на колесах. Он проносится мимо Штарке. Штарке надолго запоминает профессора Фабера, забывшего опустить автомобильные очки.

4. БАЛЛОНЫ

Стрелки в узком ходе сообщения прижались к стенкам, чтобы пропустить тяжело дышавших, ежеминутно спотыкавшихся людей, тащивших непонятный груз. Повидимому, эти люди тащили свою ношу давно и держали путь к первой линии. Стрелкам сначала показалось, что несут труп, потом, что

несут снаряд, и они удивились, что таким образом происходит нивесть зачем доставка снарядов в полной тьме, и каких огромных снарядов!

Люди тащили на палках загадочный металлический баллон, и мутное дыхание их с хрипом и задушенным кашлем показывало, что груз не легок.

— Что это такое, эй, товарищ? — спросили они, но тащившие мотнулись вперед и, шатаясь, исчезли в темноте. Навстречу стрелкам шла следующая пара, тащившая на палках точно такой же снаряд. За ними двигались на недалеком расстоянии еще другие. Казалось, темнота рождает этих носильщиков неизвестного по странному и причудливому капризу.

Стрелки стояли, затаив дыхание, а люди с баллонами все шли и шли мимо них. Стрелки насчитали уже двадцать четыре баллона, и шествию не предвиделось конца. Ничего подобного они не видели за всю окопную жизнь.

— Товарищи, что это за чепуха? Чем они набиты?

— Морковным мармеладом, — сказал один мрачный носильщик, отирая пот рукавом.

— Почем я знаю, мы сами не знаем, — сказал другой, повеселее, — я думаю, что мы так дотащим как раз до Парижа, если не сдохнем раньше.

— Что за часть? — спрашивали стрелки уже сорок третий баллон.

— Штрафная рота, арестанты, пулеметное мясо, — почти громко ответил остановившийся солдат, прислоняя баллон к стенке узкого хода. Стрелки тихо свистнули.

— Пулеметное мясо мы сами, — сказали они, и уже злоба начала просыпаться в них на это замогильное шествие, на дурацкую остановку, на этот узкий ход, не позволяющий разойтись, вылезать на край никому не хотелось. По небу бродили прожектора, и всякий знал, что это значит.

Товарищ солдата, назвавшего себя пулеметным

мясом, тоже прислонился к стенке, несмотря на то, что к нему уже приближалась новая пара.

— Не пойду, — сказал он. За воротник ему сыпалась земля, но он испытывал громадное удовольствие отдыхать, вытянувшись, стоя после длинного перехода, где он шел, согнувшись, как обезьяна.

— Астен, не глупи, — сказал его товарищ, — подымай-ка палку, пойдем дальше, если нас затрет и мы загремим, что будет?

— А если пуля ударит в этот сволочной баллон, ты думаешь, мы уцелеем?

— А что в нем — чорт его дери, он весит, по-моему, сто фунтов; если он трахнет, тут, я думаю, будет пахнуть жареным мясом на целый километр. Идем, идем.

Они двинулись дальше в темную ночную жизнь бесконечных ходов, изломанных, нырявших то в глубину земли, то выводивших к черным постройкам, скудно освещенным, где прятались люди. Они шли дальше. Эрне временами казалось, что он спит. Он на ходу впадал в самое прозрачное забытье. Он чувствовал тяжесть груза и палку на плечах, ноги его передвигались, но тьма залезала в рот, глаза, уши и прекращала всякое человеческое движение, всякую человеческую мысль. О чем можно думать в таком мраке, задыхаясь от усталости, с исцарапанными руками, побитыми ногами, головой, переполненной усталостью?

Его запрятали в штрафную роту, сохранив за ним право открытой ненависти по отношению ко всему, что он видел. Он знал, что люди штрафной роты в глазах командования — материал, от которого нужно избавиться в первую голову, но избавиться с умом. Ночная тайна баллонов, однако, не была им угадана. Да и никто, кого он ни спрашивал, не мог сказать, в чем дело. Многие думали, что это что-нибудь взрывчатое в роде мин.

Прошедшая жизнь его осталась где-то в другом веке, в другой стране. Грязный, всклокоченный. за-

гнанный в черные ходы земляных лабиринтов, голодный, сравненный с животным, он не мог бы сегодня возразить профессору Бурхардту с книжной горячностью увлекающегося молодого человека. Он мог взять в свой карман кусок этой земли, искрошенный лопатами и динамитом, перемешанный с кровью и костями, и принести его в подарок профессору на его званый ужин, когда он будет доказывать, что все благополучно — конституции государств совершенствуются.

Он ударился о забытую шанцевую лопату, которая разрезала ему штаны и провела глубокую борозду ниже колена. Боль не показалась ему острой: одним шрамом больше, одним меньше, разве в этом дело?

— Алида, — сказал он почти вслух и ощутил всем существом неведомое чувство того последнего страха, от которого трезвеет голова и ноги делаются ватными. Он еще не видел ничего, а уже дыхание остановилось, и жила на виске выгнулась такой дугой, что он услышал, как она набухает кровью. Товарищ его, как будто он передал ему свое ощущение, нагнул голову и закрыл глаза, не выпуская однако палки. И тотчас же белое пламя выросло где-то вблизи, и дикий удар расколол ночь. Внутри белого облака прошли синие с красным полосы, и черный, чернее ночи, косой столб упал с таким скрежетом, что свело челюсти.

Они очнулись, когда их толкнули сзади; они побрели вперед и снова втянули голову, потому что чудо черного столба возникло теперь справа и один комок грязи лег поперек лица Эрны, как след мокрой линяющей черной перчатки. Эрна размазал грязь, и они пошли дальше.

Теперь остановились передние, как будто им приказали остановиться. У развороченного перехода скопилась целая вереница носильщиков. Прожектор шел на них, неумолимо разворачивая свою широкую белую пилу. Прожектор дошел до них. Люди

застыли. Лица стали меловыми. Руки посинели, точно их опустили в спирт. Тусклый блеск баллонов покрылся морозной корой. Щеки у людей ввалились. Кто-то заплакал от страха. На него цыкнули. Люди стояли неподвижно. Прожектор обшаривал лица, задержался на баллонах и резко ушел в сторону. Люди потащились дальше. Но едва они прошли несколько десятков шагов, как с веселым свистом в небо вышла ракета. Она шла, набирая высоту, все выше и выше острым рубчатым огоньком, потом остановилась, лопнула, и на белых трех нитях повисли три маленьких луны, и эти луны начали превращать ночь в день. Им это удалось на такой промежуток времени, что можно было умереть от разрыва сердца.

Луны красовались над полем мертвых, потому что люди стояли как прислоненные к стенам мертвецы. Никто не дышал. Эрна царапал землю свободной рукой, и земля была мертвая, холодная, безотрадная.

Луны погасли. Шествие все продолжалось. Мимо их протиснулся человек, глухо шептавший: «Осторожней, осторожней, шире расстояние, последние шаги, нагнитесь; передавайте назад, чтобы шли тише, как можно тише».

Ходы стали разветвляться. У каждого разветвления стояли ожидающие люди. Они указывали дорогу дальше. Как можно видеть в такой темноте — об этом никто не думал. Шли безостановочно. Нет, они уже не шли. Они перетаскивали ноги с таким трудом и с такой тяжелой озабоченностью, точно несли стеклянные вазы. Эрна был полон злобой по самые плечи. Он никогда не ощущал смерть как распыление и исчезновение всего его существа так ясно, как сейчас. Он не помнил, сделал ли он сознательно это или он действительно оступился. Баллон звякнул в полной тишине, баллон соскользнул с его палки и с ясным звоном ударился о какое-то дерево внизу. Была ли то обшивка окопа, разворо-

ченная бомбардировкой, случайное бревно — этого он никогда не узнал.

Кровь отлила от головы, потому что сейчас же, как будто рядом, началась стрельба, затем прошла очередь дежурного пулемета, рикошетирующие пули, отскакивая от невидимых щитов, фигурно отсвистывали свой конец.

Разрывные пули светились. Казалось, сейчас все покроется яростным припадком повсеместного огня, но суматоха исчезла так же внезапно, как и началась. Последние пули, кувыркаясь, зарылись в землю. Перед Эрной стоял человек, трясший его за грудь, и у самого своего рта ощутил он холодный запах маузера. Человек кричал придушенным голосом: «Если ты, если ты еще раз уронишь баллон, я застрелю тебя на месте».

И он пошел сейчас же следом, так что его дыхание слышал Эрна так близко, точно тот сидел у него на плечах. Когда он спотыкался, дуло маузера тыкалось в его затылок. Четыре человека приняли от него баллон и унесли его так бесшумно, словно он ничего не весил. Эрна облегченно вздохнул. Офицер исчез.

Все носильщики, держась за руку, погружались в самую глубокую темноту, и это был блиндаж. Жаркое дыхание нескольких десятков людей согревало его. Эрна смутно вспомнил эскимосов, зимующих в снежных хижинах вповалку со своими собаками; это было первое воспоминание из мира книг, из мира, давно погибшего, как Атлантида. Он лег между двумя невидимыми соседями. Огни папирос забегали перед ним.

Чей-то голос возник вверху. Человек говорил с лестницы блиндажа, не заботясь, слушали его или нет. Он привык говорить в темноту простуженным, лающим голосом, не внушающим никакого доверия.

— Отдых полчаса — не курить — эй вы там, аристократы!

Голос исчез, но огоньки остались. Люди на дне

океана, считающие себя утопленниками, могут позволить себе роскошь не бояться простуженных голосов.

Эрне кто-то вложил в руку ломоть хлеба. На пальцы стекал холодный жир. Товарищ его, несший с ним баллон, сказал тихо: «Жри, я украл две банки там, на пункте. Это консервы, не бойся».

И он начал есть липкое, пахнувшее пóтом и землею волокнистое мясо. Он насыщался поспешно, оберегая каждую крошку. Сосед слева храпел. Гул сдержанного разговора шел по блиндажу. Кто-то начал кашлять, закрыв рот рукой. Было впечатление, что этого человека непрерывно бьют в спину. Сосед справа перестал жевать. Он перегнулся к Эрне:

— Ты не спишь, Астен?

— Я не сплю, Фриц. Что ты хочешь? Спасибо за консервы.

— Брось. Я узнал сейчас, в чем дело. Раздери меня гранатой, но я мало понимаю. Ты, ученый, может, объяснишь. Знаешь, что в этих баллонах, говорят, что мы тащили?

— Ну? — Эрна, облизывая пальцы, равнодушно слушал шопот.

— В них газ.

— Газ? Какой газ?

— Так я тебя и спрашиваю: какой газ? Что горит на улицах, что ли?

— Вставать! — сказал простуженный голос с невидимого порога, — по одному тихо выходи. Не курить!

5. КЕНСИ

Жан Кенси был весь день в прекрасном настроении. Там, где он увидел вчера толстую крысу, так он увидел ее и сегодня. И даже крыса его развеселила.

— Тебя тоже призвали, — сказал он, не двигаясь с места, — где же твое оружие, собака?

Крыса сидела, почесываясь, толстая окопная крыса, отвратительный законченный представитель своего племени. Она показала Жану мелкие узкие зубы, покрытые какой-то плесенью.

— Ты, оказывается, умеешь и смеяться, — сказал он, — еще бы, ты живешь с нами жирно — это видно, но только это неправильно. Нам все опасности, а тебе все удовольствия. Ты жиреешь на нашей крови, как банкир на бирже, это не дело. Ты подумай об этом в свободное время, его у тебя достаточно. И устрой как-нибудь так, чтобы это поскорей кончилось.

Он неосторожно сдвинул винтовку, крыса убежала. Ее узкий кольчатый хвост минуту торчал из ямы, потом и он исчез. Кенси поглядел через бруствер. Тоскливые ряды проволочного заграждения, низкие окопы германцев, воронки, налитые водой, размытая земля, проволока и столбы с пустыми консервными банками, висящими там и тут. Скучно!

— Я так привык к этому пейзажу, как к набережной Луары. Вот только кончится война... Он задумался.

Он разговаривал сам с собой, потому что все его товарищи спали, кроме часовых, изучавших бронированную щель в щите, заложенном мешками. Ближайший часовой глядел в его сторону, делая знаки. Кенси подошел к нему. Деревенский парень не знал, стоит ли звать капрала.

— Капрал бреется, — сказал Жан, — зачем он тебе?

— Немецкий аэроплан, смотри, как он крутится, крутится, будто подбит, того и гляди сядет.

Они стали смотреть оба. Немецкий аэроплан не думал падать.

— Вон там лежит Бараге, — сказал часовой, — на той вон проволоке, уже третий день. Я хочу просить капрала пустить меня за ним.

— Зачем он тебе понадобился?

— У него в кармане кости, которыми мы играем. Скучно без них, а с ним они пропадут. И я хочу прогуляться за ними сегодня вечером. Они в таком хорошеньком стаканчике. Они наверно целы. Он прятал их во внутреннем кармане.

— Я пойду тоже с тобой. Кто-нибудь из нас донесет их благополучно. Как ты думаешь?

— Смотри-ка, что делает эта свинья!

Немецкий самолет сбросил черный столб дыма, и дым повис. Едва он достиг земли, как где-то далеко взметнулись пушки, и первые гранаты упали перед окопом, вспарывая мешки, разбивая доски, рубцуя щиты прикрытий. И это уже была бомбардировка. Капрал выскочил сам. Появился лейтенант. Пространство за бруствером с надоевшей проволокой, с опостылевшими воронками через десять минут стало неузнаваемо. Все недолеты приходились на это пространство. Черные фонтаны земли следовали один за другим так часто, точно там резвилась целая партия необыкновенных китов.

Все лежали на животе с зелеными лицами. Гранаты, как электрические плуги, взрезали землю. Так было три дня назад, так и теперь.

— Приготовиться к атаке, — говорил лейтенант, и унтера подхватывали его распоряжение. В блиндажах проверяли ручные гранаты. В пулеметных прикрытиях готовились к контратаке. Так было три дня назад, так и теперь.

Веселость Кенси не проходила, несмотря на то, что он жевал щепоть такабу, чтобы утишить зубную боль, которую вызвала у него бомбардировка. Ливень гранат прошел. Повсюду, как после майской грозы, ходили лиловые тучи, то свертываясь, то распластываясь, залезая в воронки. Так было три дня назад, так и теперь.

За обрывками туч шел зеленовато-ржавый туман, не смешиваясь с облаками гранатного дыма. Этого не было три дня назад, этого не было никогда. Туман надвигался, как на море, ровный, спокойный,

не имевший никакого желания дотянуться до неба, он скорее шел, как бы согнувшись, и в его зеленоватой мути исчезало поле сражения. Бруствера уже не было. Все бросились бежать. Никто не знал, что произошло. Кенси вскочил в блиндаж, но мысль об атаке выгнала его оттуда. Погибнуть, как крыса, разорванным ручной гранатой или получить удар по черепу — это не дело.

Он выскочил наверх. Он наступил на лежавшего капрала. Капрал лежал на животе. Он не был ранен. Он судорожно мял всем лицом землю, грязную, темную землю окопа. Капрал сошел, повидимому, с ума. Кенси бежал по окопу, и всюду в тумане лежали люди. Он наступал на них, падал, вставал и ничего не мог сообразить. Вдруг все поплыло перед глазами. Потом сознание вернулось к нему. Он задыхался. Непонятно было, от чего он задыхался. Он начал делать руками движение пловца, но плыть было некуда. Он начал кашлять, как чахоточный. Он чихал, из носа текла не то кровь, не то вода, он не смотрел, в голове стоял звон. Горло стало сжимать резиновое кольцо, сотни игл кололи небо, он вздохнул, он проглотил кусок зеленоватого тумана.

Набережная Лауры поплыла мимо, как картинка из кино. Она была ненужна. А что было нужно? Нужно было отыскать что-то совершенно необходимое. Пересмотреть молниеносно все впечатления памяти. Звон в ушах стал непереносим. Рот был полон мокрой слизью, точно он наелся тины. Зеленые луга, деревья летели, как страницы разорванной книги, но это было все не то. Винтовка упала из его рук. Он вбежал на бруствер. В разрывы тумана он увидал громадное одиночество. Мир кончился. Всюду бегут и падают люди. Это и есть конец войны. Как странно она кончается.

Сердце останавливалось. Надо было искать скорее, скорее. Пронеслось белое здание лаборатории, кафель стен, кривое лицо налилось зеленоватой водой, но он не сдавался. На него обрушились разно-

цветные пробирки, вытяжные шкапы, языки спиртовых горелок, белый балахон. Да, конечно, Жан Кенси вспомнил: он же химик.

Стоя на бруствере, шатаясь и размахивая руками, он вдыхал зеленый туман, и дневная веселость возвращалась к нему удесятеренной. Он уже не чувствовал резинового кольца на горле, он уже не знал, остались на его лице рот или глаза, но, ныряя в зеленый мрак, он кричит, — ему кажется, что он кричит, — то единственное, что нужно было крикнуть:

— Это хлор, — кричит он, — ведь это простой хлор!

И в мире наступает последняя тишина, которую разрубает черный гром. Это не граната и не взрыв сапы. Это башмаки, солдатские башмаки Жана Кенси и солдатские плечи Жана Кенси ударились о дно окопа.

Часть третья

1. АННИ

Стая голосистых подростков ворвалась в кафе, забросав столики листами свежих газет. Они кричали со всем упоением возбужденной молодости, их глотки будущих солдат работали уже сейчас на оборону.

— Колоссальный успех! . .

— Впервые в истории войн! . .

— Достойный ответ врагу. . .

— Кровавый разгром союзного фронта! Тысячи убитых! Колоссальный успех! Смертельные газы! Впервые. . .

Люди бросали чашки и тарелки и хватали газеты, перегибаясь через спинки стульев, читали через плечо соседа, кричали ура, кто-то требовал гимн.

Молодая женщина, сидевшая у окна, вздрогнула при первом крике мальчишек и долго искала мелочь, чтобы расплатиться за газету. Она развернула

газету и начала читать, вглядываясь в каждую букву. Никто не обращал на нее внимания. Каждый по-своему толковал известие. Да, мальчишки кричали верно. Женщина читала: после сильной бомбардировки между Лангемарком и Биксшутом были выпущены удушливые газы. Вся позиция перешла в наши руки... Атаки были повторены двадцать четвертого и двадцать пятого апреля с большим успехом в районе к востоку от Ипра. Наши потери ничтожны.

Женщина дальше не читала. Она сложила газеты и оставила кафе. Она шла, точно сама наглоталась газа, почернев и дрожа. Прохожие уступали ей дорогу, некоторые оглядывались. «Верно, она потеряла кого-нибудь на войне,— думали они,— ну, что ж, обычное дело». Временами женщина приходила в себя и останавливалась, чтобы перевести дыхание. Потом она снова бежала и бежала неопределенно куда, казалось, гонимая преследователями, и ее действительно преследовали. Газетчики и газеты захватили улицы, это был час вечернего выпуска. Казалось, женщина страшится именно этих газет. Она сворачивала в сторону всякий раз, когда вплотную подходила к людям, остановившимся с газетой в руках. Отчаяние не сходило с ее лица. Если бы рядом была река, она, не колеблясь, перешагнула бы мостовую решетку. Никогда в жизни она не тосковала так, как в этот вечерний час. В домах зажглись огни.

У подъезда стоял под фонарем человек с газетой. Женщина кинулась через улицу; прямо перед ней явилась в воздухе гладкая конская морда и лаковая гладкость шорных дощечек. Пена висела на трензельной цепочке. Изо рта шел пар. И сейчас кто-то схватил ее сзади, повернул, и высокий человек укоризненно сказал, возвращая ее на тротуар:

— Сударыня, это неосторожно!

Она подняла голову, голос показался ей знакомым.

— О! — сказал человек уже растерянно, — Анни, Анни, что с вами, вы больны?

Анни вцепилась в его руку.

— Это очень хорошо, что это вы, Винни. Ведите меня куда-нибудь, куда-нибудь. Я схожу с ума, Винни. Если бы вы знали...

Бурхардт вел ее под руку. Он вел ее, как раненую на перевязочный пункт. Пункт был далеко. Собственно, Бурхардт вел ее к себе домой. Анни шла, смотря в сторону, кусая губы. Она села на большой бурхардтовский диван и заплакала. Бурхардт смотрел на ее энергичное лицо, смягченное горем, и думал, что она еще красива. Долг дружбы обязывал помочь ей. Он погладил ее по плечу.

— Анни, — сказал он, — первый раз я вижу вас плачущей. Анни, успокойтесь. Неужели случилось что-нибудь с Карлом? Я принесу вам сейчас воды. Кто вас обидел?

Он принес воды, она резко отстранила воду и выпрямилась. Потом голова ее снова опустилась, и она чуть слышно сказала:

— Мне очень тяжело. Простите меня, мне слишком тяжело, Винни...

Новый поток слез хлынул ей на руки. Бурхардт ходил по комнате, мрачно смотря на женщину. Она вынула платок и запихала его в рот, ломая пальцы. Отчаяние ее достигло предела; она сидела с закрытыми глазами, платок упал.

— Уйдите, — сказала она. Бурхардт, пожав плечами, вышел из комнаты. Он знал, как можно утешать своих легкомысленных приятельниц. Он знал, как разговаривать с женами приятелей. Он умел угождать их вкусам, ничем не жертвуя. Он гордился, что имеет твердый характер. Но Анни Фабер была особым человеком. Никогда в жизни он не думал, что она будет сидеть на его диване, захлебываясь слезами, как нервная девочка, — она, холодная, умная, спокойная фрау Фабер.

Когда он услышал, что она встала с дивана, он вернулся в комнату. Анни стояла у стола.

— Нет ли у вас одеколона? — сказала она. Он принес ей флакон и полотенце. Она вытерла слезы и освежила лицо.

— Не удивляйтесь, Винни, — сказала она печальным и ясным голосом, — я не пробую улыбаться, ничего не выйдет, больше ничего не выйдет. Анни Фабер нет, как нет и Карла Фабера.

Бурхардт взял ее холодную руку и поцеловал.

— Я вас давно знаю, Анни, но я ничего не понимаю во всем, что сейчас происходит, — ничего.

Анни вернулась на диван. Она подняла с пола платок и разглаживала его.

— Вы читали вечерний выпуск? — спросила она, глядя в упор. Его поразила огромность ее глаз.

— А, — сказал он, — газы... Вы, конечно, хотите сказать о газовых атаках. Это, должно быть, забавное зрелище, Анни...

— Забавное зрелище?! Вы сошли с ума! Вы ничего не знаете. Один человек сделал это. Мировой ученый, ваш друг, Карл Фабер, по доброй воле стал убийцей.

Она говорила, и плечи ее сводила судорога.

— Говорите все, — попросил он, — все, Анни, вам будет легче...

— Винни, вы знаете Карла. Не было человека, преданного науке больше, чем он. Я — химик, я была его помощницей. И не было человека счастливее меня, Винни. Меня упрекали за серьезность, за постоянную серьезность, но я умела смеяться и веселиться. Мы знали, что в жизни выше всего наука, и, когда я влезала в свой лабораторный халат, я становилась иной, Винни.

«Это были счастливые времена. Карл был окружен прекрасными помощницами. Его открытия известны всему миру. И недавно я узнала, что часть лаборатории давно стала тайной, закрытой для других лаборантов, охраняемой, как крепость. И в

лаборатории появились военные. Они приходили как к себе. Я думала, что они производят случайные опыты, и я спросила Карла, что происходит. И он смутился, мой честный Карл стал путаться, стал лгать мне и объяснять так, что мне стало ясно: дело идет о серьезной и громадной вещи, не будет же сам Карл заниматься случайными вопросами. Я сказала ему все, что думала. Я сказала, что люди вдвоем проводят жизнь, делят все пополам, или же они исчезают в разные стороны. Так у нас было до сих пор. Что поделать, у меня такой характер, Винни. И он открыл мне то, что я подозревала. Я не имею права говорить вам это, Винни, вы должны забыть то, что я вам говорю, — если об этом узнают другие, вам будут большие неприятности, — но я не могу, не могу не говорить.

«Я узнала, что он разработал применение отравляющих газов в боевой обстановке. Я похолодела в ту минуту. Вы не химик, вы не можете себе представить ужас и мерзость этого дела. Никогда в мире ни один химик не решался на это. Я узнала, что дело зашло далеко, так далеко, что, как пишут сейчас там в газетах, достигнуты большие успехи...»

Анни говорила хриплым от слез и усталости голосом.

— Я умоляла его отказаться от мысли участвовать в этом деле. Солдат против солдата — честная битва, судьба которой решается искусством оружия, равным соревнованием сил, личной храбростью, я не знаю, или намеренное страшное нападение на людей, ничем не защищенных. Он говорил мне, что англичане применили газ в снарядах, что нужно ответить им для спасения родины. Я не верю, об этом кричали бы наши газеты. Я не спала ночи с того дня, но я верила, что Карл в последнюю минуту откажется, найдет в себе мужество не стать палачом тысяч, легким палачом, Винни, человеком, сидящим далеко от всякого риска и хладнокровно, как крыс, умерщвляющим себе подобных. Для этого

ли он прошел такой блестящий, такой изумительный путь ученого, чтобы завалить его трупами, бесконечными трупами, потому что, знаете, Винни, — такое оружие нельзя безнаказанно вынести на свет. В этом его проклятие. Оно сильнее всего существующего в мире оружия. Никакая граната не сравнится с газом. И у газов есть неисчислимый запас смертоносных комбинаций. Химики всех стран, из патриотизма или из чувства самосохранения, начнут такую же работу. Винни, что будет с человечеством? Человек, изобревший пулемет,—ангел по сравнению с Карлом. Он дал слово, что он не будет участвовать в этом деле, и я жила три дня, как будто я только что вышла за него замуж, счастливая, такая счастливая, что вся моя лаборатория шутила надо мной, не понимая, в чем дело.

«И потом он уехал... Он уехал, как он сказал, в научную командировку. И он не вернулся до сих пор. Прошло много времени, и его все нет. Он присылает записки, что командировка скоро кончится. Где он, я не знаю. И вдруг по секрету мне сообщили, задолго до печати, о газовой атаке.

«Мне рассказали подробности, от которых, Винни, у меня волосы стали дыбом. Я не могла есть, у меня пропал сон, я не могу больше ходить в лабораторию, я не могу видеть эти стены, я не могу смотреть в глаза людям, я не могу больше видеть Карла, а без него я не смогу жить, Винни. Вот и все. Это так просто. Он нарушил слово, данное мне. Значит, он сделал выбор. Значит, все кончено. Зачем мне его объяснения? Я знаю, что он все объяснит. Он умный — умнее его мало людей на свете. Я ждала газет, но газеты молчали. И сегодня вечерний выпуск подтвердил все, все, и то, что я не ожидала — что это только начало ужасов, только первые опыты, но не последние».

— Анни, я ваш старый друг, — сказал Бурхардт, — мы живем в тяжелое время. Многое не под силу нам. Мы сгибаемся под тяжестью войны, но,

Анни, вы не правы; некоторая мечтательность в вашем характере, удивительное сочетание ума и женственности. . .

— Не фальшивьте, Винни, не пробуйте меня утешать, я не хочу двигаться на каких-то духовных костылях. Ведь, вы подумайте, Винни, пока мы здесь сидим, он там убивает новые тысячи, он душит их, как душат бандиты, хватая за горло, потому что хлор, которым он душит, парализует дыхание.

— Анни, а если вы ошибаетесь, — сказал Бурхардт, — а если это все-таки не он? А если он спокойно сидит где-нибудь в лаборатории и вовсе не думает ни о каких убийствах? Где у вас доказательства?

Анни нахмурилась. Она глядела на Бурхардта почти враждебно.

— Где доказательства? — щеки ее сморщились, она дурнела на глазах, — доказательства? доказательства я получу сегодня же.

Она встала.

— Я не отпущу вас, — закричал Бурхардт, — преступление отпускать вас в таком состоянии. Вы не доберетесь до дому. Вы попадете под автомобиль. Вы не смотрите, куда идете. Я силой задержу вас, но не отпущу. Карл не простит мне, если я отпущу вас сегодня.

— Я не девочка, и смена впечатлений уже не играет роли. Я понимаю вас, Винни. Конечно, незачем возлагать на вас ответственность за сегодняшний день. Вы были старым и добрым другом. Спасибо вам! Я уже спокойна. Если хотите, можете проводить меня домой. Я устала действительно и хочу отдохнуть. Простите меня за слезы. Я сама не знала, что могу так плакать. . .

Бурхардт проводил ее домой. Он шел и говорил о незначительных вещах и незначительных людях, чтобы развлечь ее. Ему показалось, что это удалось. Они спокойно вошли в квартиру Фабера, и она позвонила и велела дать чай. Потом она ушла

и переоделась. Они пили чай, и она больше ни одного слова не сказала о происшедшем.

Уходя, он попросил позволения позвонить ей утром по телефону.

— Звоните, — сказала она, и они простились, как будто ничего не было.

Она стояла у окна и смотрела, как он шел по улице. Когда он завернул за угол, она поспешно собралась и вышла на улицу. Она остановила авто и сказала шоферу:

— Королевский институт.

Тяжелое здание каждым освещенным окном посылало ей вызов. Первый раз она удивилась сухости воздуха и ослепительному равнодушию коридоров. Прежде она этого не замечала. Фогель стоял перед ней, как всегда растягивая рот в улыбке почтительной и удивленной.

— Уважаемая фрау профессор, — начал он, но она остановила его, и Фогель померк; он убрал улыбку и насторожился. Пухлые руки его забарабанили по столу.

— Фрау Анни, давненько вы не были у нас, разрешите предложить вам стул.

Анни не села, она стояла перед Фогелем. Она была выше Фогеля, не намного, но все таки выше, его глаза были под ее глазами. Она смотрела на него сверху вниз. Это было естественно, но немного обидно.

— Фогель, скажите мне, где находится профессор Фабер?

Фогель изобразил изумление. Он тряхнул головой, и глаза его подпрыгнули.

— Профессор Фабер находится в лаборатории в Майнце. Разве вам это неизвестно, фрау Анни?

Анни села на стул. Рука ее прошла по столу и нашла руку Фогеля. Фогель сел по другую сторону стола. Анни сжала его руку.

— Вам известно, Фогель, куда он отправился из Майнца?

Рука Фогеля подалась назад. Анни задержала ее на столе.

— Он поедет в Леверкузен и Херхст.

— Вы сочиняете на ходу, Фогель, или вы так хорошо выучили инструкцию?

Фогель убрал руку со стола, он даже убрал ее в карман. Он смотрел растерянно.

— Фогель, — сказала простым и тихим голосом Анни. — Милый Фогель, я знаю, что вы меня не сильно любите, но сегодня я буду вам говорить только неприятности — что-делать: скажите мне, где находится мой муж, профессор Карл Фабер. Обойдитесь только без уверток, без вашей постоянной дипломатии, Фогель. Я прошу вас.

Фогель молчал. Он покраснел и начал жевать губы. Анни смотрела ему в глаза. Фогель молчал.

— Фогель, я спрашиваю вас, будьте раз в жизни мужчиной. Неужели у вас душа вытяжного шкапа, где проходят аккуратные воздушные вихри, и только?

Фогель молчал. Он выпятил нижнюю губу и был похож на рассерженного бульдога.

— Фогель, я отвечу за вас. Я знаю, где находится он. Я всё знаю. Вы читаете газеты, Фогель? — я боюсь, что нет...

Фогель испугался, испуг прошел тенью по его лицу.

— Я уже три дня не видел газет. Я уже два дня не выходил из Института, я питался бутербродами. Сейчас такая горячка. Я буду благодарен, если вы скажете мне, что в газетах, фрау Анни...

Анни сказала медленно, как стих:

— В газете напечатано, что профессор Фабер находится не в Майнце, дорогой Фогель, и не в Леверкузене и не в Херхсте — вы ошиблись сегодня, — он находится в Бельгии, между Лангемарком и Биксшутом, восточнее Ипра, вот где находится мой муж, правда это, Фогель?

Фогель смотрел страдающими глазами.

— Правда это, Фогель? Зачем же вы скрыли от меня?

Фогель скрипнул зубами и закрыл глаза.

— Так, Фогель, и он проводит там газовые атаки. Газовые атаки, Фогель, имеют большой успех, это вы должны знать, вам это интересно знать. Вы имеете долю в этом успехе. Отныне ядовитые газы крещены вашим именем. Требуйте прибавки жалованья и железный крест. Вы заслужили. Правда, ведь, Фогель?

Фогель стоял с закрытыми глазами. Анни перевела дыхание.

— Больше мне ничего от вас не нужно. Покойной ночи, Фогель! Можете не провожать. Прощайте и не очень сердитесь на меня. Передайте мой привет профессору Фаберу, когда он вернется из... Майнца.

Фогель стоял, опираясь на стол пухлыми пальцами, и рот его кривился. Анни вышла из Института. Холодный ветер тряс весенние ветви. Вся ночь была в ее распоряжении.

Она шла ровным, медленным шагом, глубоко дыша. «Я прогуливаюсь как на большом тюремном дворе» — подумала она и не могла понять, откуда взялась эта странная мысль. Дома она обошла все комнаты. Мебель стояла тихая, строгая. Она упрекала Анни в легкомыслии: все уже спят, не к чему бродить по комнатам.

— В самом деле не к чему, — сказал Анни. Она отступала из комнаты в комнату и задержалась в кабинете. Она зажгла маленькую лампу с зеленым абажуром. Профессор Фабер смотрел на нее со стола. Она положила портрет стеклом на стол, она держала на нем руку, точно искала пульс, но рамка была металлическая, холодная, сухая.

Она прошла в спальню и села на кровать. Садясь, она толкнула ночной столик. С него со стуком упал причудливый флакон. Она не подняла его. Светлая лужа блестела на паркете. Пробка флакона разби-

лась вместе с горлышком. Слишком тонкий флакон, надо будет покупать флаконы из толстого стекла. Завтра прислуга будет ворчать на непорядок. Она всегда ворчит на Анни. Она не ворчит только на Фабера.

Анни разделась. Она стояла у шкапа, забыв, зачем она раскрыла его. Потом она отыскала белый халат, рабочий белый халат и запахнула его решительно. Не зажигая света, она прошла в рабочую комнату. Эта комната была маленькой лабораторией. Шкапы с приборами, шкапы с книгами, шкапы, загроможденные одними стеклянными предметами. Она заперла дверь. Свет проникал со двора, желтый, мягкий, ничуть не страшный. «Почему иные боятся лунных ночей?»

Все в этой комнате известно наизусть. Даже в темных углах можно не зажигать света. Вещь, которую она держала в руках, не походила на разбитый флакон и даже вовсе не походила на флакон. Анни села на окно. Видны были небо и деревья. Последний раз на земле под окном был сад. Она открыла форточку, села удобнее, закрыла глаза и запрокинула голову. Наступила тишина. Очень долгая ночь была в распоряжении фрау Анни.

2. СКОРОСТЬ

За толстыми зеркальными окнами купе специального поезда летела ночная Германия. Поезд не уменьшал хода, встречая вагоны с солдатскими эшелонами, товарные составы, груженные снарядами, маленькие станции с заспанными дежурными, громадные города, огнедышащие вулканы заводов, горы каменного угля, крестьянские тележки, застрявшие у шлагбаумов, освещенные вокзалы, виадуки, эстакады, насыпи, одиноких пешеходов, бродяг или дезертиров в темных полях. Поезд был специального назначения, и люди в купе были специальные. Профессор Фабер сидел, расстегнув жилет и сменив ботинки на мягкие туфли. Против него помещался

человек гигантского телосложения, точно на него пошел материал, которого в природе больше не встретишь. На короткой шее была помещена плотная, круглая, как бочка, голова. Обручи удалось замаскировать. Вернее, они вросли в мясо. Руками шире лопат он сгребал воздух, когда говорил, и гнал его на собеседника. Поэтому он старался двигать ими как можно медленнее. Золотые зубы, блестевшие из-под коротко подстриженных усов, походили на червонцы, обрубленные по краям. Большой бриллиант смотрел из галстука.

Фамилия человека была велика, как он сам. Он даже не назвал ее. Она действительно была бы слишком громоздка для узкого ночного купе. Все равно, профессор Фабер знал, с кем говорит, и говорил резко, но с уважением. Пассажир продолжал начатый разговор, не обращая внимания ни на скорость поезда, ни на позднее время, ни на случайное место. И то, и другое, и третье были для него вполне обычными.

— Я следую иногда заповедям, написанным не святыми людьми. Товар святых людей сейчас мной не воспринимается всерьез. Один великий муж выразил мою мысль следующими словами, с которыми я глубоко согласен: Империя есть вопрос желудка. Мировая империя есть вопрос мирового желудка. Сегодня желудку прописана диэта. Кровяное лечение, но этого мало. Если вы не хотите революции, вы должны стать империалистом. Мы уже империалисты, и это пол-успеха. Я настаиваю на том, что мы должны кончить войну как можно скорее. Положение еще не катастрофическое, солдаты еще сражаются, заводчики получают хорошие прибыли, рабочие еще молчат, но генералы должны поспешить с победой, и вот почему. Как поделят мир державы — неизвестно, а как он поделен капиталистами — мы немного знаем. И Международный пороховой и динамитный трест, и Международный рельсовый картель, и Международная компания морской

торговли, и Международный цинковый комбинат, и Всеобщая электрическая компания, и Мировой нефтяной трест, и десятки других мировых соединений жили до войны как самостоятельные державы, поделив между собою страны и зоны влияний. Теперь это равновесие нарушено. Иные договоры временно приостановлены, иные лопнули. Если вы разбираетесь немного в нашем деле, то вы знаете, что такое «Общество Мать», это мировое объединение, основное предприятие, если им не затронуты некоторые малые страны, или если оно ищет новых путей, то оно позволяет вырастать обществам — дочерям, с тем, чтобы их основной капитал не превышал акционерного капитала Общества-Матери. Ясно вам, что будет или не будет военная победа, капиталы перегруппируются заново вне патриотической зависимости. Если вам скучно, я могу говорить о женщинах. Я могу даже познакомить с некоторыми, и вы не будете раскаиваться. . .

Фабер сказал:

— Продолжайте, я вам тоже кое-что расскажу.

— Хорошо, я продолжаю. Я не настоящий немец. Я космополит, но все мои корни здесь, в Германии, и рубить сразмаху такое крупное дерево не в моих правилах. Люди моего характера — космополиты. Мы сильнее дипломатов и генералов; если мы захотим, самая могучая армия останется безоружной. С толкователями общественных систем, с философами и социалистами у нас небольшой конфликт, ибо мы просто иначе понимаем назначение вещей во вселенной, чем они. Кроме того в нашем деле понятие нейтральность — вполне условно. Я допускаю сейчас, что Крупп поставляет Франции снаряды или динамит Англии. Я знаю, что британский флот снабжается оптическими приборами германских фирм Цейсс и Герц, что колючая проволока для верденских фортов доставлена через швейцарскую границу фирмой «Магдебургер Драт унд Кабельверке». Когда есть избыток, это не так страшно.

Гораздо обиднее, что ваш большой океанский тоннаж, застрявший в Америке, едва не был превращен в вспомогательные крейсера. Это значит не понимать положения. Это уже ошибка.

«Военные затруднения Франции сейчас очень велики, финансовые дела Англии в большом беспорядке. Самый удобный удар можно нанести сейчас. Переход огромных колониальных владений в руки Германии, изменение финансового и торгового лица Европы даст нам возможность в случае полного невероятного разгрома захватить в свои руки то основное, что сделает Германию единственной страной-матерью, переведя все остальные страны на положение дочерних. Повторяю, в случае полнейшего краха Антанты, с такими людьми, как Захаров и Армстронг в Англии или Шнейдер во Франции, договориться будет не так трудно. Денежный рынок сейчас не в очень блестящем положении, и желание мира отодвигается только ростом вооруженный, то есть возникновением новой колоссальной отрасли на свежем месте. Уверяю вас, что и на Бэренштрассе вздохнут спокойнее, узнав о скором конце войны, чем о бесконечной войне, хотя бы и с военными трофеями. Я был в Роттердаме и Копенгагене, и с хлопком плохо. И очень плохо с резиной. Есть проект доставлять каучук из Америки на подводных лодках, но это слишком пахнет романтикой. Я слыхал про ваши опыты с удушливыми газами. Это замечательно только в том случае, если мы оправдаем их применение быстрым приближением к победе. Так ли я говорю?»

— Вы говорите совершенно верно, — отвечал Фабер, — они там наверху, я не буду называть их, делают ошибку за ошибкой. И, когда я говорю, что надо делать, — они усмехаются почтительно и отвечают, что у меня не военный мозг. Да, у меня мозг ученого, я не знаю, что больше весит. Хотя, впрочем, я знаю. Наши враги ближе к истине, чем наши полководцы. Они говорят: в жилах войны течет

расплавленный уголь, уголь — вот первый маршал сражения. Он сгибает, он формует, он начиняет орудия. Уголь — это пароходы, уголь — это поезда. Что такое пулеметы и пушки? Это уголь. Снаряды — это уголь, они выделываются из угля, они начиняются углем. Боевая сила их, сидящая внутри, — это уголь. Война это поединок между вестфальским углекопом и углекопом Кардифа. Уголь — это смерть и жизнь. Уголь — это победа. Они учитывают силу, действующую сегодня, но они пока не знают силы, которую вызвал я: газ против угля, газ против их мускульного напряжения, газ против лихорадки голого патриотизма, газ против потных мясников, любящих рукопашную, газ — демократическая смерть без всякого пафоса. Газ — это победа. И эти идиоты не понимают, что если бы они поверили мне до конца, наша гвардия уже грузилась бы в портах Ламанша, чтобы завтра быть в Дувре. Вместо этого они занимаются кустарничеством. Я не отрицаю личной храбрости. Эмден, Кенигсберг, Мове — чудные приключения для юношества, или бессмертные крейсера-призраки, сегодня здесь, завтра там, сегодня они бьют неприятеля у берегов Перу, а завтра их топят у Фальклендов. Одной телеграммой больше. Налеты на курорты Англии с разбиванием черепиц и взрывом купален — это пикник с дешевой выпивкой и битьем стаканов. Цеппелины над Лондоном и Парижем — только рекламы войны, не больше. Какие-то потные изобретатели сидят и придумывают вариации мин, блиндажей, маскировок; один человек додумался поливать горящим маслом окопы, я видел его мельком на фронте, мне его показали. Тупое лицо, низкий лоб, усы лавочника, вы понимаете — жарить французов в масле и подавать на стол высшего командования, блестящая идея, рожденная в голове провинциала. С таким же успехом можно из лейки поливать Иэллоустоунский парк. И они помешаны на каких-то кустарных вымыслах, точно война будет длиться

тридцать лет. Я положил предел этому, когда сказал им: поверьте в меня, поверьте в газ. Англия имеет тонну хлора в день, наши заводы дают нам сорок тонн в день; они не поверили, и когда шесть тысяч человек легло сразу, они с недоумением заняли окопы, они не понимали, что это поворот, что это открытие оружия, равного которому нет. Так тупые рыцари когда-то, по которым били из пушек, никак не хотели расстаться со своим латами. Я с трудом добился, что теперь по всему фронту они применяют газ. Они не спешат, когда нужно спешить. Нужно спешить, потому что, к сожалению, я в мире не один. Химики еще существуют. Мои друзья в Англии и Франции с удовольствием примут вызов. Мы должны работать ночь и день. Мы должны заготовить оборону против неприятельского газа. Началось состязание гончих, и у нас сейчас преимущество в беге, но скоро его не будет. Мы будем итти голова в голову. И тогда на каждый газ мы должны отвечать сверхгазом, на каждый противогаз — сверхпротивогазом. Маска войны будет меняться ежемесячно. Но вы, может быть, не совсем представляете, что такое газ. Газ можно пускать облаками, волнами, газовыми завесами. Можно наливать его в снаряды, можно начинять мины, можно превратить каждую развалину, каждый окоп, лес или улицу в газовую западню, можно заставить людей плакать или смеяться, можно заставить их чесаться, как обезьян, реветь, как буйволы, извиваться, как змеи. Им будет казаться, что они вдыхают озон, — но это будет дымовая завеса из желтого фосфора; они войдут в сады, где воздух пахнет весенним соком, а это будет этиловый эфир бромуксусной кислоты. Хлористый нитробензол покажется им ароматом забытой родины, покоя и уюта; целый город будет пахнуть геранью, фиалкой и мятой, и весь гарнизон его будут составлять мертвецы. Мы образуем химические садоводства. Я не безумец. У меня не военный мозг — они правы. Я ученый,

которому надоело наблюдать доисторическую свалку, где бьют острым по тупым головам. Но я твержу только одно: надо торопиться. Пока враг говорит: главное — уголь, — мы можем жить. Если завтра он скажет: главное — газ, — вы понимаете, что последует? А они перебрасывают, перебрасывают, перебрасывают тысячи людей с запада на восток, с востока на запад, как будто дело только в том, чтобы непрерывно гонять эти тысячи, как крыс из норы в нору.

— Все, что вы сказали, очень серьезно, — сказал гигант, — но ведь вы перевертываете все мировое военное производство. Знает ли мир, кому он обязан этим?

— Он, конечно, не должен знать. Я псевдоним. Нет никакого профессора Фабера, есть наука, предпринявшая маленький опыт, выйдя за стены лаборатории. На Ипре меня называли человеком в зеленых очках — и этого достаточно. Правда, любителя горящего масла зовут Князем тьмы, и это верно: бутафория всегда имела соответствующее имя.

— Вы едете сейчас в Берлин? — спросил гигант.

— Нет, я еду домой. Я немного устал и немного соскучился по своей лаборатории, по жене и друзьям. Фронт довольно грязен. Я вчера нашел у себя вошь. Я выкинул белье и принял горячую ванну.

3. ХИТЧЕНС

Лейтенант Хитченс еще раз перечитал письмо. Все встало, как в тумане: Вавилония, двенадцать тысяч тонн грузов и металла, продырявленного, обволоченного паром, шипящего, погружающегося в воду и вместе с ним — это очень трудно представить — уходит под воду, задыхается среди обломков единственная нужная ему женщина. Артиллерийский лейтенант кричал на свой взвод влево от Хитченса. Что же, лейтенанту пожаловаться лейтенанту? В этом чудном мире остались только офицеры и

солдаты, других человекоподобных не наблюдается. «Очень хорошо, лейтенант Хитченс», — сказал он себе, и глаза его осоловели, как после трех ночей пьянства.

И в тот же день бежала его рота. Она покинула окопы, принимая туман за волну газа. И, когда он посмотрел на туман, у него закружилась голова, но он сдержался и вернул роту, он позвонил на соседний участок и на батарею. Дело было плохо, соседний участок не пил, не ел и не спал. Люди готовились или умереть, или бежать, скорее — последнее. Не обнаруживалось никакого присутствия духа. Офицеры кричали на батарею, чтобы она открывала огонь. Батарея стояла далеко и чувствовала себя в сравнительной безопасности, но ясно было, что орудия будут брошены при первой панике.

Ужас витал над всем фронтом. Вспышки случайных выстрелов принимались за начало огнеметной атаки. Всякий дым и туман — за волну газа. Огненный и воздушный призраки парили на легких крыльях над всеми окопами.

Хитченс сидел на совещании офицеров батальона, и все лица походили на вопросительные знаки. Командир батальона был в дивизии, и в дивизии сидели не люди, а какие-то смятенные и подавленные существа с нашивками и ленточками.

— Приняты самые энергичные меры, — сказал командир батальона, стараясь не усмехаться.

— Приняты меры, а чем можно затыкать рот и нос, если завтра они снова выпустят газ?

— Мокрой марлей из индивидуального пакета.

— Индивидуальные пакеты неприкосновенны.

— Мокрые носки полезны не менее.

— Умирают все сразу или на другой день?

— Индивидуальность обеспечена, дорогой мой!

— Танцовать на празднествах по случаю окончания войны можно в черных очках и на костылях, украшенных Юнион Джеком и орденом Подвязки.

— Вавилония погибла, — сказал Хитченс. В его

глазах стоял серый туман, который его рота приняла за газ — серое море, перископ в волнах и женщина с американской открытки.

Лейтенант Хитченс постарел за один день на десять лет. Может быть, потому, что он каждый час готовился к смерти и все не мог решить: нужна она ему еще или нет. Потом он долгие часы проводил перед изломанным баллоном, исковерканным пулями и ударами штурмовых лопат.

Полковник застал его за этим занятием и удивился углубленному взгляду своего офицера.

— Вы выглядите страшно умным, Хитченс, — сказал он, — над чем это вы философствуете?

Тут полковник наклонился и узнал остатки германского огнемета, отбитого недавно.

Хитченс ползал перед ним, как бы совершая обряд поклонения испорченному куску металла.

— Я хочу им вернуть обратно все, — сказал он, — и хороший огонь и хороший газ, но этому надо поучиться. Кое-что я уже сообразил.

— Похвальное дело, — сказал полковник — и на четвертый день Хитченс ехал в Лондон по серому морю, где сквозь туман за пароходом шел узкий столбик перископа. В каюте Хитченс вскакивал каждый час и непременно хотел разрядить кольт в темную дверь каюты, откуда его поливали горящим маслом и он осязал запах паленых волос. В багаже его качался германский огнемет и докладная записка о возможности создания аппарата, подобного огнемету, но выбрасывающему не масло, а газ. Газ нужно было найти, ибо фронт сходил с ума от страха и никто не мог поручиться ни за что. Он соскочил с койки еще раз и увидел женщину, лежавшую на дне моря, она пришла и стояла в дорожном костюме на пороге. Эта была просто его знакомая, не имевшая ничего общего с пассажиркой Вавилонии, и, однако, он направил на нее кольт, но выстрела не последовало. Кольт был не заряжен. Женщина подошла к нему и, так как она была только что на

фронте, она знала многое: она знала, как легко там потерять равновесие и все, что с ним связано.

И тогда он бессвязно и в первый раз после получения письма рассказал ей о том, чем была для него женщина, не доехавшая до Англии, и он захотел выйти на палубу подышать свежим воздухом. Но его спутница запретила ему это. Она нежно обняла его и усадила на место. Ей было сказано, что за ними идет подводная лодка, и увидят ли они Англию на рассвете — неизвестно. Они долго говорили о разном и так устали, что заснули сидя, прислонившись спинами к вздрагивающим стенкам каюты.

Женщина проснулась первая. Серое море было видно отчетливо в иллюминатор. Чемодан Хитченса был раскрыт, и вещи в нем находились в диком беспорядке. Ей захотелось сложить их поудобнее. Первыми под руку попались газеты, привлекшие ее внимание. Это были германские газеты, захваченные Хитченсом из штаба дивизии, так как там приводились некоторые подробности газовых и огнеметных атак в сообщениях специальных корреспондентов с фронта. Женщина равнодушно скользила по узким столбцам и готическим строкам — она свободно читала по-немецки. Она задумалась и вертела газету из стороны в сторону.

«Вести из Сербии, — прочла она заголовок статьи, — с санитарным отрядом от Белграда до Ниша». В Сербии был ее знакомый офицер, и она прочитала внимательно несколько строк: «Ужасный тиф свирепствует на нашем пути. Мы страдаем от него не менее голодного и раздетого противника, бегущего в безумии поражения к морю через снежные горы. Вчера заболела тифом старшая сестра Алида фон Штарке, и мы оставили ее в Кралевце, в десяти милях. . .»

Женщина вспомнила, что ее знакомый не имеет никакого отношения к германским санитарным отрядам в Сербии, и бросила газету. Хитченс спал с крепко сжатым ртом, постаревший и серый, как

море. Ему снился огнемет. Женщина вздохнула. Пароход входил в гавань.

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Кровью были покрыты столбы, поддерживавшие соломенный навес, кровь стояла лужами на земле, кровь пропитывала кучу брошенных бинтов, солому, грязные доски, на которых лежали раненые, кровь стекала по рукам работавших с засученными рукавами людей, кровь можно было набирать в стаканы, кружки, бутылки. Кровью залитые винтовки и палки были сложены в углу, кровь стояла в пустых носилках, кровь выбивалась из каждого человека, который стоял, лежал или полусидел под двумя яркими лампами. Кровавые следы шли от навеса в разные стороны. Крови было столько, что ее уже не замечали. Перевязочный пункт был первым пунктом раскрепощения от войны. Тут можно было реветь, вопить, кусать пальцы, ругаться, проклинать, не боясь окрика начальства.

Доктор, как могучий борец, бросался на каждого раненого и клал его на лопатки. Его помощники сортировали людей, как товар. Налево контуженные трясли деревянными головами, не произнося ни слова. Направо умирающие широко раскрывали глаза и ударяли руками по земле, стараясь удержаться за что-нибудь перед той пропастью, в которую они падали.

Доктор мял, тискал, резал, рвал мясо; он не нуждался ни в спирте ни в морфии, чтобы держать свои нервы в порядке. Храп мотоцикла дошел до его ушей, но не сказал ничего нового.

Освещенный луной солдат тянулся перед ним, расставив ноги шире, чем полагается человеку, просто стоящему во весь рост. Короткий кашель, похожий на кашель курильщика, непрерывно вылетал из его рта. Он сказал только одно слово, которого никто не понял.

— Рахxаза, — сказал он. Зеленой бронзой свер-

кавшее лицо солдата стало чернеть, как ламповое стекло, покрывающееся копотью. Он упал навзничь. Санитар нагнулся к нему, поднялся, позвал товарища, и они вдвоем отнесли его направо. Голова индуса легла на грудь его ночному попутчику в самом длинном из путешествий.

— Третий случай, — сказал санитар, и к нему подошли двое. Они опустились на колени перед индусом, направили на него электрическую лампочку и вынули записные книжки. Они ощупали набухшие подкожные вены шеи; открытый рот был переполнен слизью, пенистой и зеленоватой. Они ворочали покойника, сняли мундир и пояс, вытянули руки, синие, худые; щеки и нос стали тоже синими и худыми. Они записывали в книжку все подробности.

— Обрати внимание, — сказал один, — гиперемия слизистых оболочек... цианоз губ. Я видел его вчера. Он вез донесение и был живехонек. Они умирают не сразу. Что ты думаешь? Я думаю, это новый газ.

— Помнишь, утренний жаловался на глаза. Он ослеп за обедом и пролил суп на колени. И умер слепым, а перед тем он пел.

— Я больше не могу, я не могу! — закричал человек, лежавший в самом темном углу. — Провалитесь вы с вашим сволочным пунктом...

— Следующий! — кричал доктор. Он жевал резину. Он не нуждался в спирте или кокаине.

Прислонившись к без памяти лежавшему товарищу, человек кричал в темноту, как будто он стоял на кафедре баптистов и приносил покаяние:

— Я был медиком, я был вивисектором, я брал собак, брил их, распластывал их, растягивал на станках, я заживо резал их.

— Замолчи, пустите ему пулю в лоб. Пусть он замолчит.

— Я копался в их внутренностях, я морил их голодом.

— Послушайте. Эй, вы, возьмите себя в руки. Чортов медик, чем хвастается!

— Я вливал в желудок острые кислоты, кипяток, яды. Я пропускал через них электрический ток...

Глухая брань и стоны приветствовали речь бывшего медика.

— Я обливал их керосином и сжигал. Прижигал глаза уксусной кислотой...

— Довольно, остановите этого человека!

— Доктор, заткните ему глотку сапогом!

— Я давал им рвотные. Я накладывал лигатуру на пищевод. Я сам сейчас, как эта собака, и все вернулось ко мне. Мы все...

Чудовищный кашель бросил оратора на пол, и тогда врач положил скальпель и подошел к нему в сопровождении тех двух с записной книжкой.

— Я боюсь, что это четвертый, — сказал державший наготове карандаш.

Оратор лежал, раскрыв рот, и красно-бурые глаза его смотрели в солому, свешивающуюся с потолка, как бы боясь, что крыша упадет на его голову. Пена окутывала губы.

И тогда фонарь осветил человека с перевязанной рукой и прокушенной губой. Губу прокусил сам человек. Он окаменел и придерживал бинты на левой руке своей здоровой правой.

— Как дела, Хитченс? — сказал врач. — Что вас принесло снова из Англии?

— Мне нехватало одной детали, и вот я достал ее и заодно заработал на этом огнемете. О, я вам скажу — это не так слабо.

Зубы его снова впились в нижнюю губу.

— Чем вам помочь, Хитченс? Надеюсь, вы не наглотались газа? Начните вы мне тут чихать и вытягивать ноги. Хотите морфия?

Человек покачал головой отрицательно. Зубы медленно разомкнулись.

— Я не хочу. Я хотел бы знать. О! — он снова схватился за руку, — я бы хотел знать имя человека,

который пустил огнемет на пользу человечества. О!

— Вы остались шутником, Хитченс, — сказал доктор. — Бодритесь, бодритесь. Я отправлю вас перед рассветом. Сейчас дорога под обстрелом. Я тоже дорого бы дал, чтобы узнать, от чего умирают они. Третьего дня у меня был бенефис. Люди отправлялись на тот свет из самых разных мест: один падал с ложкой в зубах во время обеда, один ослеп, как только лег на кровать, несколько человек кашляли до тех пор, пока не показались желчь и кровь, а потом они умерли; один свалился на допросе в штабе. Скоро кровавый лазарет отойдет, повидимому, в область предания. Люди будут умирать прилично — не загрязняя обстановки, можно будет здесь поставить бархатные диваны. Это все результат нового германского газа, Хитченс. Одно могу сказать: новинки приходят к нам без опозданий. Один офицер рассказывал мне, что он шел с батареей и дышал чудным утренним воздухом. Ба! Его точно стукнули по голове — глаза стали краснеть, и к вечеру он ослеп.

Через две недели к нему вернулось зрение, но сердце стало никуда негодно. Он попал — они называют такие места карманами — в сгущенное маленькое облако застоявшегося газа. Ну, крепитесь. Так не хотите морфия?..

Шатающийся человек с пеной на губах держал доктора за рукав.

— Так, — сказал доктор, — а вот и номер пятый. Ральфи, дайте ему стул. Пускай он умрет с комфортом.

5. SMOKING-ROOM

Комната была полна дыму, но это не был острый дым сражений, это не был газ. Это был дым сигар, папирос, сигарет и трубок. Комната служила smoking-room'ом, курилкой. Молодые люди, сравнительно молодые люди, сидели в креслах, на плетеных стульях, иные прямо на столах. Каждого вхо-

дившего встречали возгласами дружескими, насмешливыми, иногда почти школьническими; со всех фронтов вернувшиеся химики и физики, потевшие в лабораториях Газовой службы, чтившие богами таких людей, как лорд Рейлей, Вильям Рамсей, полковник Гаррисон, Оливер Лодж — взапуски рассуждали о своих достижениях, о неудачах и превратностях войны.

— Кто видел последний раз Этвуда? — спросил темнолицый химик.

— Этвуд убит четыре месяца тому назад; ему оторвало голову, его схоронили без головы; мы нигде не могли найти ее, — ответили из клуба дыма, висевшего над диваном. — Я был ранен в том же бою в ногу. Три недели в Мюлльбанке, месяц отдыха — и потом я здесь.

Разговор шел по комнате, как целая толпа смерчей, очень легко переходивших с места на место и по временам выраставших до потолка.

— Старик Дьюар прямо сказал тогда же, что это хлор; так это и оказалось.

— Кто бы мог подумать, что индиго сыграет такую роль?

— Мы перетряхнули тысячи красящих веществ. Мы пробовали опыты с азотноватым ангидридом. Купер получил воспаление легких и сошел с этого дела. Медные опилки, облитые азотной кислотой, заменяют самый лучший сквозняк. Но потом мы перешили на бром, иодистый бензол, метиловый эфир.

— Мы работаем как на гонках. Если я отдыхаю или курю больше часа, это уже преступление. Конечно, наша работа — вопрос жизни. Мы следим за всем, что делается на фронте, как сыщики, — за случайным облаком газа, за неожиданным газовым снарядом. Мы роемся в дымящемся навозе войны, чтобы собрать самые горячие испражнения. Я думаю, нас мобилизовали не менее двух тысяч, и все еще мало.

— Я уже забыл, какого цвета волосы у девушек.

Я воняю как труп, валявшийся в хлоре неделю. Я потерял вкус к жизни.

— Где будет ближайшее наступление? — мечтательно спросил самый юный и сам ответил, не дожидаясь отклика: — Я думаю, если проследить разрывы последних новых газовых гранат и отложить от этого места триста километров к западу или востоку, это будет не сильной ошибкой.

Некоторые засмеялись.

— Мы до сих пор, однако, не удосуживаемся спросить, в чем дело?

Химик из Харборо подпрыгнул на стуле:

— Дело в снарядах! Наш старичок как-то сказал, что Германия — это опера вроде Вагнера, где борются злые и добрые духи, — я сам слышал это своими ушами в Бангоре, — и что вот он верил, что добрые духи вырвут душу Германии из плена — и ничего не вышло. Душа нырнула, как он сказал, в море крови, и мы имеем дело с военной кастой, а потому ливень снарядов, сорок дней и сорок ночей, дождь из гранат, которые разрешено нам начинять, чем мы найдем нужным.

— Старичок — это, конечно, Ллойд Джордж.

— Ну, кто же иной будет пускать в ход Вагнера?

— Ллойд Джордж, — протянул неуверенным голосом австралийский физик, — некоронованный король Англии, диктатор типа Дракона. У него в характере есть нечто от Кромвеля, недаром он индепендент, и от Нокса есть тоже кое-что — он лучший смазчик колес британской государственной машины.

— Надо было предупредить германцев, надо было нам начать первым эту химическую войну. А теперь приходится гоняться за каждым их снарядом, чтобы вынюхать дальнейшее. Хотя я не знаю, что лучше — сидеть в окопе или каждый день иметь дело с фосгеном наедине. Сколько уже наших отправилось отдыхать до самого страшного суда.

— Я потерял руку, будучи только в Дублине. Я обязан любезности сера Роджера Кэсмента. Гово-

рят, его расстреляли на носилках, он не мог стать на ноги, он был ранен.

— Ничего подобного. Он говорил три часа в свою защиту, и все-таки его повесили. Но кого-то действительно расстреляли на носилках.

— Мой друг ирландец, я не знаю, где он теперь, так часто в свое время повторял мне молитву фениев, что я запомнил ее целиком:

О, Туль, услышь нас!
О, Туль, спаси нас!
От английской цивилизации,
От британского закона и порядка,
От англо-саксонского лицемерия и свободы!

Вокруг зааплодировали и засмеялись.

От владычества Британии,
От раздвоенного копыта.

— Подумаешь! — сказали в углу.

От необходимости ежегодного восстания.
От военного постоя.
Довольно! Довольно!
От мнимых судов.
От всех других вещей чисто английских...

Поднялся легкий свист. Кто-то насмешливо продекламировал:

Британия, Британия...
О, если б только знать она могла,
Как за ее коварство все народы
Ее клеймят...
...Не она ли
Суровый сторож мрачной их тюрьмы...

— Кто это? — спросило несколько голосов, — немецкая стряпня?

— Это только Байрон. Правда, он ощущается как архаизм. Мы знали войну, власть, ответственность, мы отвечаем за свои годы и за свои дела.

Человек в крагах резко встал.

— Ирландия в союзе с Германией — это предательство. Двух мнений быть не может. Завтра они подымут Индию, как подняли старого дурака Деве-

та в Африке. Мы ставим вопрос ясно и отвечаем ясно. Каждая нация имеет миссию. Миссия англичан — сплотить всемирную империю, которая создается силой, а не руками, затянутыми в лайковые перчатки. Освободимся от школьного вздора и поймем следующее: если все нации так или иначе начинают грабежом, то это значит, что пираты являются лучшими созидателями империи.

«К счастью, кровь, порождающая пиратов, еще не иссякла у нас. Когда это случится, Британия и Большая Великобритания перестанут существовать. При создании и защите империи не может быть понятий: справедливо или преступно. Есть лишь одно право — право более сильного и более способного. Сильный должен господствовать, не справляясь, желает ли этого слабый или нет. Народы попадают в тигель войны, и на адамантовой наковальне судьбы боевой молот сплющивает их в форму, намеченную господом.

«В конце концов наш Юнион Джек недаром служит нашему богу. Святой Георг, разве это не первый Томми Аткинс, а святой Стефан разве не первый Джек Тар? В настоящей войне, как никогда, мы ощущаем не военное искусство маневров и ударов, а выносливость наций, длительность сопротивлений. И разве генералы не зависят сейчас от того, что скажем мы, — мы, сидящие в лаборатории, чтобы получить противогазы для защиты и газы для нападения? Ллойд Джордж говорит о ливне снарядов. Кто даст им начинку? Мы — и никто другой».

— Это ужасно, — воскликнул бледнощекий, с зарубцованным легким. — Это ужасно, что это выпало на нашу долю. В конце концов эти газы открыты давно, и ученые даже не думали предлагать их для цели уничтожения. Еще Байер, Каро, Лаут, Витти в восьмидесятых годах знали прекрасно их свойства и, будь они живы, они, я уверен, заколебались бы.

— Ты не прав, — сказал потерявший руку в Ирландии, — нам привили бешенство. Нами овладела

злоба, такой злобы в мире еще не было, та злоба, которую не остановить, потому что мы стоим на рубеже отчаяния и поражения. Кто знает силу будущих германских атак? Если б вопрос войны решали одни рабочие или социалисты всех стран, или одни ученые, они, может быть, решили бы его иначе. Но у нас отнято право иного выхода. Возьми Хитченса. Когда он изобрел свой изумительный газомет, давший чудесные результаты? Не тогда, когда он тихо сидел в окопе и изредка стрелял, а тогда, когда любимейший человек погиб от германской подводной лодки и он нашел в себе дикую злобу, такую ясную, что в ней, как в озере, прочел о возможной гибели всей страны, и начал мстить тем же оружием. Так обстоит дело.

— Может быть, так, но посмотри, Ванцент, сколько наших товарищей осталось во Франции. Я подсчитывал. До сих пор не вернулось четырнадцать. Четырнадцать молодых талантливых людей разорваны, как плюшевые игрушки, и мы даже не знаем, кто ими играл. Их больше нет. Мы никогда не найдем их могил. И может настать такой год, такой день, когда мы будем жалеть об этом. Думать о войне как об ошибке.

— Кто же не согласен, что нам навязали войну?

— Это говорит сэр Эдвард Грей.

— Это ясно каждому.

— Мне это не ясно.

— Когда ты понюхаешь нового фосгена или дефинил-хлорарсина, ты будешь думать иначе...

— Прекратите глупый разговор! Идет полковник Гаррисон. Он не должен слышать подобные слова. Это оскорбило бы его.

6. СЕРБИЯ

В окне лежало сербское небо, лохматые горы, лохматые, как собаки, стаями бегавшие по городку.

— Это та, что отстала от отряда Штралля? —

спросил доктор, откладывая бритву и макая край полотенца в горячую воду.

— Да, после нее остались вещи, немного белья, два платья, костюм для верховой езды. Много вещей она раздала в Нише, альбом рисунков.

— Покажите...

Доктор Кранц небрежно перелистал альбом. Мыльная пена упала с кисточки на страницу; он стер ее пальцем и вытер палец о край куртки. Он небрежно перелистывал альбом.

— Модное направление, — сказал он, — но придется отослать родственникам. Что еще?

— Молитвенник. Одеколон. Как ни странно, две пачки табаку. «Тоннель» Келлермана и Гамсун.

— Одеколон я возьму. Нет смысла пересылать. Табак можете взять вы, я не курю, книги сожгите, вещи продезинфицируйте...

— Еще осталось письмо...

— Письмо? кому оно адресовано?

— Адреса нет вовсе. Чистый конверт.

— Прекрасно, — равнодушно сказал Кранц и взглянул в низкое окно. В окне лежало сербское небо, лохматые горы, лохматые, как собаки, стаями бегавшие по городку. В окне лежало одиночество. Доктор взял письмо. Он начал вслух:

«Милый Эрна!

«Жила-была девушка. Эта девушка любила на свете...»

Он остановился.

— Я думаю дальше можно не читать?

— Я думаю то же.

Кранц сложил письмо и взглянул на спиртовку. Она горела насмешливым лиловым пламенем. Он протянул письмо углом, и пламя легко взбежало как по уступу. Пепел упал. Доктор взглянул в зеркало и спросил:

— Что еще?

— Больше ничего, господин доктор

— Вы можете итти, Франц. Да, кстати, у этой девушки было много любовников?

— Простите, господин доктор. . .

— Я спрашиваю, как вы думаете?

— Я думаю, много.

— Я тоже так думаю. Ну, идите, Франц, можете взять табак!

7. ПЯТНО

Когда профессор Фабер переступал порог своего института, весь остальной мир переставал существовать для него. Пусть цели, для которых он приходил в институт, имели прямое продолжение в том отрезанном глухими стенами мире — здесь они превращались в призраки и подчинялись законам таинственных процессов, повелителем коих был только он и его ассистенты. Анни. . . но Анни больше нет. Анни умерла, а друзья, любовницы, — страшно сказать, само государство, — все исчезало из головы Фабера, когда он надевал толстый халат, бесшумные туфли и резиновые перчатки.

Дом походил на монастырь монахов особого ордена. Там замурованными сидели в отдельных кельях подвижники в ненарушимой тишине и сосредоточенности. Иногда эта тишина нарушалась, как будто в монастырь врывался через вентилятор вытяжных шкапов дьявол. Так однажды утром грохот потряс весь дом. Стекла осыпались, как прелые листья, реактивы смешались, иные исследователи слетели с табуретов, и одна стена дала трещину.

В дальней темной занавешанной комнате плавал краснобурый туман.

Ничего нельзя было рассмотреть. Ни газеты ни особо любопытные всезнайки не узнали, что случилось в этой занавешанной, теплой и страшной комнате. Туман удалили, и на полу остался чернее головешки профессор Вестер. Он был правой рукой Фабера. Комнату привели в порядок, и новый человек сел в нее продолжать труд покойного, но Фабер

весь день, куда бы ни смотрел, нагревали ли серу в колбах Вюрца, — он видел на краю трубки, приводящей хлор, на горлах реторт, на стекле промывной склянки, на ребре капельной воронки, на ртутном столбике термометра — неуловимое для других черное пятно. Оно преследовало его несколько дней под ряд. Пятно не могло называться угрызениями совести. Пятно не относилось к разряду предчувствий. Фабер был свободен от предрассудков. Но, когда он обнаружил пятно на кончике своей папиросы, — он задумался. Может быть, он переутомился?

Он прошелся по всем лабораториям. В нижнем этаже сидели ассистенты, работавшие над новыми видами боевых газовых соединений. Вытяжные шкапы переносили испарения газов в верхний этаж, где сидели ассистенты, работавшие над новыми видами противогазов против новооткрытых в нижнем этаже боевых газовых соединений. Эта встречная система представляла несомненное и совершенное удобство. Этого достигли не сразу.

Вихри вытяжных шкапов, шороховатое беспокойство столов, промасленных асбеститом, теплый покой ртутных ламп, холодные аппараты Гемпсона для сжижения воздуха, легкое потрескивание масляных насосов, зоркие глаза сотрудников, обращенные, как стрелы компаса, в одном направлении, — несколько ослабили черную точку, сделав ее чуть заметной, сероватой, но завтра она могла снова вырасти. Профессор Фабер не мог связать свою ответственную жизнь с ничтожным значком, заимствованным из пунктира.

Тогда он начал придираться. Газ, вода, электричество — триединство лабораторного равновесия — были в порядке. Газ бежал по трубам и горел в высоких, тонких столбиках на зависть огнепоклоннику, вода действовала в насосах, шумела в раковинах и веселилась, а электричество горело день и ночь.

Тогда он перешел на вещи местного значения. Два стола пустовали. Они имели обыкновенный будничный вид, но, как к анчару, к ним нельзя было приблизиться безнаказанно. На них был пролит иприт, он впитался в дерево, он поселился в столах и угрожал. Столы стояли, залитые хлорною известью, и в них медленно умирала невидимая и острая опасность.

К этим столам можно было придраться. Можно было придраться к тому, что ассистент Фогель ходит с бинтом на руке, пораженный хлористым мышьяком, что сдохли два кролика, предназначенные для ипритного испытания, — но серая точка тускнела все больше и не исчезала.

Тогда Фабер сел и начал просматривать записи последних испытаний. Он знал их, он уже просмотрел результаты, но мысль его витала над этими длинными тетрадками, исписанными формулами, непонятными простым людям.

И тогда, — как будто из мира, от которого он был отделен стенами, волей характера и любовью к своему делу, только к своему делу, — из мира государства, друзей, любовниц — Анни больше не было — пришла мысль, в центре которой было серое пятно. Если б его институт погиб, — все равно как: от бомбы неприятельского летчика, от бешенства новооткрытого газа, как погиб профессор Вестер, от измены или недоброжелательства, от молнии, от пожара, от чистой случайности, — с чем бы отошел от его развалин профессор Фабер к людям, не имеющим к нему никакого отношения?

И тогда он понял, почему ему легко слышать о тысячах ежедневно уничтожаемых им людей. Он согласился бы жить в дружбе с обезьянами и кошками, но не с людьми. Профессор Фабер — один из немногих, имеющих право на одиночество в мире. И он еще понял, что лжет в каждом публичном выступлении, в статьях, речах и разговорах. Его равнодушие иногда выступает с особой силой, и, когда

профессор Бурхардт спросил его: «Кто будет отвечать за эту войну?» — он сказал с яростью: «Отвечать будет побежденный».

Он не поменялся бы ни с одним славнейшим полководцем, писателем или инженером. Через головы всех фронтов он ведет свою особую громадную и смертельную борьбу — он уважает только тех немногих, равных ему мировых химиков, что в такой же тишине вражеских лабораторий парируют его удары среди таких же смертельных столов, залитых ипритом, среди обожженных ассистентов, среди взрывов окиси какодила и фосгена.

Он выделяет из всех писателей Флобера, за то, что тот сказал: «Миром должны управлять ученые мандарины, это — единственная справедливая власть». За эту фразу Фабер прощает ему его французское происхождение и то, что он так много занимался в своих романах женщинами. Они этого не стоят. Они или скучны или распутны. Они не имеют ничего общего с высоким одиночеством науки. Анни была исключением. Анни больше нет. Об этом не стоит вспоминать.

Так думал профессор Фабер, но серое пятно не исчезало. Оно стояло, как глаз невидимого наблюдателя, неотступно. Тогда он позвал Фогеля и прошел с ним в маленький рабочий кабинет, где у них бывали совещания, где распутывались маленькие недоразумения, где он принимал представителей штаба, где профессор Вестер шутил последний раз перед смертью. Фабер взглянул на собеседника. Серая точка тускнела посреди его лба, над которым начиналась лысина, щедро освещенная электрическим солнцем.

Был один ученый, маленький заштатный ученый, ненужный ученый, плохой ученый, отказавшийся работать в его институте по производству ядовитых газов. Он был или идиот или социалист. Он мог бы сидеть за это в крепости, в мире ничего бы не изменилось, в науке — тоже.

И Фабер усмехнулся. Серое пятно походило на этого ученого, на волчок, детский волчок, пущенный под ноги взрослому человеку. Раздавить его ничего не стоило, но волчок был слишком мал и гибок. Бегать за ним взрослому человеку было стыдно. Ассистент смотрел глазами кролика, влезающего в иприт.

— Синильная кислота не годится, Фогель, знаете вы это, в том виде, как она сейчас. Процент смертности ничтожен. Мы зря распыляем по полям драгоценный материал. Концентрация, которую мы даем, не убивает человека, она отправляет его не в могилу, а только в санаторий. В этом вся разница.

Фогель подтянулся. Послушный и внимательный Фогель мог вникать только в природу научного факта, а не в результат человеческих переживаний. Его не интересовало, что лучше: могила или санаторий. Отравляющее вещество не действовало как нужно, и в этом повинен он — Фогель. Но он решился сопротивляться.

— Камера наполнена должной концентрацией. Я проверял на кроликах и кошках.

— Что получилось? — спросил Фабер.

— Они сдохли, — сказал громко Фогель, — при впрыскивании смерть тоже немедленна.

— Сколько времени мы можем вести эти опыты до результата?

— Мы получаем сведения с фронта каждую неделю. Если у нас сегодня пятнадцатое и первая партия пробных пройдет в район, где предполагается атака...

— Вы ставите опыт в зависимость от вкусов штаба. Значит, пройдет вечность.

— Господин профессор, иного способа...

— Иной способ есть...

Фогель смотрел в угол, легкая дрожь пошла по его ноге. Подобная мысль — просто глупость. Фабер сегодня шутит неудачнее обычного.

Телефон зазвонил. Фогель взял трубку, потом прикрыл ее ладонью и сказал:

— Вас хочет видеть по неотложному частному делу майор фон-Штарке.

— Кто это, Фогель?

— Кажется, это изобретатель огнемета.

— А! Поджариватель французов! Дежурный повар кухни его величества. Скажите ему, Фогель, что профессор Фабер уехал на фронт!

— Хорошо... Вы слушаете? Профессор Фабер уехал на фронт. Что? У вас есть сведения? Сведения неправильны. Да... Да... Не знаю. Пожалуйста.

— Господин профессор, я знаю способ, но это не имеет отношения к делу.

— Ваш способ?..

— Войти в камеру человеку.

— Совершенно верно!

Трубка телефона осталась висеть на шнурке. Фогель забыл ее повесить на крючок.

8. КАМЕРА

— Господин профессор, вы слушаете меня?

— Да, Фогель.

Длинный коридор, выложенный белыми плитами, уходил в бесконечность.

— Войти в камеру нельзя человеку.

— Почему, Фогель?

Фогел вспотел. Он почти бежал по коридору, и потом он был ниже Фабера. Ему приходилось, говоря, приподыматься на носках.

— Человек в камере умрет. Концентрация смертельна...

— А я говорю: нет, Фогель... И я это докажу!

Фогель в первый раз за долгую институтскую практику смотрит растерянно на стены. Стены гладки и казенно сочувствуют ему. Он приподымается на носках. Его кадык вылезает из воротнич-

ка. Фогель становится уродом с большой головой и туловищем ящерицы.

— Можно военнопленного, господин профессор.

Фабер останавливается внезапно.

— Вы, кажется, сказали: военнопленного?

— Я сказал: человека, которому нечего терять. Приговоренного, или сумасшедшего, калеку... Когда жизнь в тягость...

Они продолжали быстро преодолевать коридор за коридором.

— Мне нечего терять, — говорит Фабер, — а потом вы меня знаете. Фогель, что такое синильная кислота?

«Ага, профессор Фабер опять хочет шутить». Ну, что же, Фогель вынимает руки из карманов, как ученик на уроке.

— Синильная кислота. Синильной кислотой всегда называли водный раствор цианистого водорода... Цианистые соли дают...

— Благодарю вас, Фогель. Теперь сосчитайте до ста, и вы успокоитесь окончательно. Мы пришли.

Что хотел доказать профессор Фабер, входя в камеру, наполненную парами синильной кислоты в концентрации неизвестной, но, по Фогелю, достаточной для того, чтобы убивать наповал все живое, что соприкоснется с ней? Но так думал Фогель. Профессор Фабер ничего не хотел доказать. Он хотел освободиться от маленького серого пятна, неотступно стоявшего перед ним, освободиться от какой бы то ни было ответственности. Русские, например, в таком случае брали наган, вкладывали одну пулю и перекатывали барабан, потом брали дуло в рот и нажимали спуск. Если выстрела не следовало, человек вставал с места, слегка качаясь, и долго помнил металлический вкус во рту. Японцы, например, в таком случае снимали с себя оружие и лишнюю одежду и с голыми руками, далеко впереди наступающих, лезли на утесистые форты Порт-Артура.

Профессор Фабер стоял в камере, наполненной парами синильной кислоты. Он знал, как придет смерть, если он не ошибся. Она придавит центры продолговатого мозга, тело перестанет выкачивать кислород из крови, он будет раскачиваться, зевая, ноги отнимутся, дыхание умрет раньше, чем остановится сердце. В страшном омуте крови, которая станет алой, как киноварь, сердце будет биться, когда горло схватит последняя судорога.

И труп профессора Фабера будет покрыт пятнами светлокрасного цвета, как выходная одежда клоуна. Бедный Фабер! Смерть могла бы трагичнее украсить труп такой огромной важности, а она его сравняет с любым ландштурмистом.

Он стоял, потеряв представление о времени. Время исчезло, когда он перешагнул порог, который переходили только кролики, собаки и кошки.

Он ждал конца. Он ждал смертельного подергивания мускулов, как облегчения. Он не слышал сердца, он искал одышки, как первого предвестника гибели. Большой шум тяжелой волны прошел по его сознанию. Профессору Фаберу осталось жить несколько секунд. Они тянулись так, что можно было пережить всю мировую историю, добраться до великой войны, отыскать институт, уединенную, глухую комнату и вывести Фабера из забытья.

Говорят, были случаи, когда отравленные могли перейти двор, обнять жену и сесть в трамвай, чтобы умереть на людях. Но ведь он, Фабер, говорил, что синильная кислота, которую предлагает Фогель, посылает только в санаторий.

Он почувствовал, как ногти в сжатых кулаках впиваются в ладони, как дрожит ухо, как высох желудок и болтается подобно кожаному ведру, опущенному на веревке внутрь Фабера, как конец этой веревки пухнет во рту. Язык рос, и шершавость его занимала весь рот. На ногах жилы рисовались Фаберу переплетением синих шнурков. Его короткие усы, широкие и плоские, стали влажными. Ощуще-

ния проходили сквозь него, как пешеходы, возвращающиеся искать забытые вещи в гостиницу, где они когда-то останавливались. Они перерывали его и причиняли боль совсем не там, где он ждал ее.

Неужели эти секунды еще не кончились? Или вот это и называется смертью? Тогда, значит, почерневший Вестер мог еще в уме проверить смертельную ошибку, начертив мысленно маленькую формулу, когда уже его труп выносили из краснобурого тумана. Ведь сердце и мозг живут и после прекращения дыхания. Он вспоминал формулы синильной кислоты как заклинание: треххлористый мышьяк не дает ей разложиться. Глухой шум прошел под потолком, как будто ветер срывал палатку. Хлороформ не дает ей разложиться. Шум повторился. В комнате начинается ураган. Четыреххлористое олово, олово уменьшает летучесть. Ураган бросил Фабера к стене. Сердце не билось. Язык стал уменьшаться. Колени сгибались, точно на них висел груз. В ушах звенело. На единый миг профессор Фабер потерял сознание. Он нашел себя у стены, липкой, как патока. Нет, липкой была не стена, липкой была рука. Серозеленые молнии пронизывали воздух. Как лгут писатели и художники, рисуя смерть в виде законченной фигуры, в плане точных движений. Ничего точного — мрак, расслабленность, тихое и медленное угасание сознания. Его качнуло. Он протянул руку, руку кто-то задержал и рванул вперед. Фабер раскрыл глаза. Перед ним стоял Фогель. На его широком лбу, над которым высилась начинавшаяся лысина, играло электричество. Никакое серое пятно не нарушало мощной белизны фогелевского лба.

Фогель тащил его по коридору, издавая тихие восклицания. Фогель веселился, как медведь, обсасывающий лапу. Он втащил его в комнату, положил на диван, сел напротив, загородив спиной раскрытую аптечку с приготовленными пузырьками, пакетами и склянками. Только ножницы и бинты не

успел он загородить, и это было первое, что увидел Фабер по возвращении с того света.

Фабер пил горячую воду с коньяком; он сидел, расстегнув воротник, пиджак и брюки; наступая на шнурки от расшнурованных ботинок Фабера, над ним хлопотал Фогель.

Маленький чайник весело кипел. Фогель взял коньяк, хотел прибавить Фаберу в кипяток, остановился и печально сказал:

— Вы опозорили меня на всю жизнь!

Часть четвертая

1. МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Железный крест, чин майора, «мертвая голова» на левом рукаве — знак бессмертного пионера, тяжелый титул Князя тьмы и ясное убеждение: его огнемет не оправдал себя. Он не сожжет войну. К такому выводу приходишь на четвертый год. Сколько напрасных ожиданий! Огнемет означает все, что угодно: высокий дух, храбрость, мужество, презрение к смерти, но еще не конечную победу. Лучше бы не приезжать с фронта до конца войны! До конца войны... а когда ей конец?

Как фельдмаршал Шлиффен, умирая, в предсмертном бреду повторял: «укрепляйте правый фланг!», так он мог, умирая, кричать: «огнеметы, только огнеметы!» — но все было решено по-другому. Другой счастливец, если его можно назвать счастливцем, пожал его лавры, если это можно назвать лаврами, и этого человека звали — профессор Фабер. Раз — это было давно — Штарке пошел к нему, чтобы лицом к лицу проверить силу своего противника, и Фабер не захотел его видеть. Тогда он засел за новый проект, простой, увлекательный и полезный. Проект обсуждался в бесчисленных отделах штаба, и, когда он получил ответ, кровь застучала в старом сердце Штарке.

Они отвергли его блестящий новый проект. Видите ли, у них, во всей Германии, нехватит масла на это, самолеты — не такое всемогущее оружие, как он думает. Поливать горящим маслом с самолетов неприятеля — это сложная фантазия. А разве огнемет не был фантазией, буйный рост которой вызвал он, Штарке?

— У нас нет запасов материалов, — говорил ему блестящий болтун, любовавшийся звуком собственного голоса. — Вы не знаете, сколько германская армия жжет, например, хлопка. Ежедневно она сжигает его больше тысячи тонн. Вы только подумайте: тридцать выстрелов из двенадцатисантиметровой пушки поглощают четыреста фунтов хлопка. Шестьсот тонн мышьяка идет у нас ежемесячно на тот миллион снарядов, который мы выпускаем на фронт. Нельзя же переменить всю систему пушек и винтовок. Снаряды поддаются изменению легче всего, и то со стороны внутреннего состава. Ваш огнемет хорош при позиционной местной войне, при ударных атаках, но ждать большего от него не приходится, тем более что он не поражает неожиданностью.

— Вы, — говорил этот злобный и завистливый человек, — вы тратите очень много материала. Вы загоняете сто литров масла в один большой аппарат Грофа, вы делаете из среднего Векса восемнадцать выстрелов, действующих на двадцать пять метров. Куда это годится? Я был на вершине Эпарж, — вы знаете ее, помните, какие бетонные пулеметные гнезда и блиндажи стояли там, — я долго не был в тех краях, в прошлом месяце я попал туда. Вершины нет, она сравнена с землей, клочья проволоки, углы бетона, бетонная крупа и щебень, и кости в любом количестве. Это сделали минометы и мортиры Хитченса. Вот это работа! Три тысячи минометов стреляют сразу. Он довел их до совершенства. Мина заряжается газом, от одного вдыхания человек умирает. Это — первое, а второе в том, что

газовые волны и снаряды заменили все. Каждый день, каждый час мы несем ужасные потери. Люди слепнут, и глохнут, и умирают, нигде не чувствуя себя в безопасности. На десять километров в глубину идут газовые волны. И мы отвечаем тем же. Газ за газ. В самом глубоком тылу деревья выжжены, трава выжжена; вокруг — пустыня и бойня.

— А знаете вы, — сказал Штарке, — что профессор Фабер отказался меня принять, когда я к нему пришел? Правда, это было давно.

— Я не знаю причины его отказа, но знаю, что это единственный человек, за которым вся армия повторяет одно слово: газ, газ, газ. От него, как быки под ножом, валятся целые дивизии. Люди спят в противогазах. Колокола звонят газовую тревогу по четыре раза в день. Простите меня, я должен прервать разговор, меня ждут.

И он ушел, самодовольный и спокойный штабист. Штарке вернулся домой. Штарке долго стоял в раздумьи, спиной к окну. Широкая спина непонятна, как запертая дверь. Седая голова его неподвижна. Так будет стоять на памятнике Штарке. Так будет он изображен в мраморе или в бронзе.

Штарке глядит каменными глазами на пепельницу. Пепельница сделана из осколков английского снаряда. Очень прочная пепельница. Очень спокойная пепельница. Она никогда не задает вопросов. Она никогда не отвечает на них.

2. БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

— Вы знаете, я как-то сказал одному офицеру, что вы единственный человек, за которым вся армия повторяет одно ваше слово: газ, газ, газ. Артиллеристы прошли настоящую химическую науку. И так просто, не правда ли? Неподвижный заградительный огонь — желтый крест, — горчичный газ. Зеленый крест — фосген. Синий крест — мышьяк. Только от постоянного напряжения, от острого возбуждения у людей появилась усталость. Западный

фронт стал пугалом. Люди говорят, что там целым остаться нельзя. Или будешь ранен, или отравлен, или убит. Правда, можно сдаваться в плен, но это не всегда успеешь чисто технически. Из полков при переводе с восточного фронта отмечено дезертирство. Бегут главным образом эльзасцы и поляки. Общая усталость налицо...

Фабер сидел со штабистом в комнате совещаний. Они пили кофе с английскими трофейными сухарями. День был почти зимний. На улице было холодно и скользко. В комнате нагревалась электрическая печь, и штабной офицер сидел, положив нога на ногу, обыкновенный и развязный, как всегда, хотя они говорили о вещах важнейшего значения. Правда, великие события не считаются ни с местом ни с погодой. Раз пришло их время, их ничто не задержит, а штабные во все времена и у всех народов будут одинаковы. Их авторитет непоколебим.

— Что такое усталость? — сказал Фабер. — Это просто самоотравление организма особым ядом, получающимся при распаде белкового вещества. Усталость можно прививать, как оспу. Усталость меня не беспокоит. Меня беспокоят противогазы. Я пробовал недавно новую кожаную маску, все три образца...

Штабист отставил чашку. Воспоминание о собственном пребывании на фронте живо встало в его голове. Фабер свистнул. Было удивительно, что такой большой человек свистит, как мальчишка.

— Если англичане начнут стрелять Синим крестом — усталость исчезнет. Противогазы пропускают Синий крест.

Офицер побледнел. Фабер отставил свою чашку и продолжал:

— Если англичане введут в дело мышьяковистые соединения, нам придется приблизить наш противогаз к английскому. Англичане применяют фильтры из шерсти и ваты против наших цветных крестов, но противогаз такого типа давит на горло и вызы-

вает скорое удушье. Мы возьмем другой тип противогаза. Это будет большая коробка, висящая на груди, с резиновой трубкой. Резины у нас нет. Мы пускаем в ход кожу. Но приготовление из кожи трубок довольно сложно. А нам нужны миллионы трубок. Что же делать? Я наводил справку. Запасы резины ничтожны. Как проходит сейчас линия фронта?

— В общих чертах фронт идет от Арраса на Лафер — Реймс — Верден. К сожалению, мы давно потеряли Суассон. Линия Зигфрида трещит. Вся надежда на позиции Кримгильды и Хундинга. Битва не ослабевает.

— Я сомневаюсь еще в одном пункте, — Фабер говорил спокойно, как на лекции. — Попробуйте проверить запасы гельбоина, этих коробок с хлорной известью, которые мы применяем против горчичного газа. Какое наличие гельбоина находится на снабжении армии? У меня есть подозрение, что нехватает и его. Я даже знаю, что некоторые армии заменяют его марганцево-кислым калием, но это нельзя оставить так.

Штабист встал.

— Я уезжаю завтра. Ваш доклад я передам сейчас же лично. Вы будете уведомлены через три дня. Вы получите копию справки.

Фабер позвонил Фогелю. Фогель пришел, как всегда, сияя начинающейся лысиной. Она увеличивалась с каждым днем, но сам Фогель не терял ни в блеске ни в объеме.

Через три дня Фаберу доставили телеграмму, уже расшифрованную и совершенно секретную, и он читал ее так долго, не не отвечал ни на какие покашливания Фогеля. Фабер спрятал телеграмму в карман, через несколько минут вынул ее, погладил переносье и тогда взглянул на Фогеля.

— Простите, Фогель, вы что-то сказали мне?

— Я не говорил ничего, господин профессор.

Фабер протянул ему телеграмму, и Фогель уди-

вился, что Фабер читал десять минут три коротких строки: «сообщаю, что в третьей, первой, седьмой, семнадцатой и шестой армиях вся хлорная известь роздана в войска. Запасов ее больше нет».

Фогель прочел телеграмму вполголоса.

Профессор смотрел на Фогеля так же пронзительно, как всегда, но с тем оттенком хищности, за которым всегда, знал Фогель, профессор будет или злиться или неудачно шутить. И он был прав.

— Фогель, какую страну выбираете вы, когда уезжаете отдыхать? Или нет — какая страна влечет вас к себе больше всех других?

— Меня влечет Сиам, — сказал Фогель: — белые слоны, баядерки и тигры. — Он шел навстречу шутке.

— Вы можете складывать чемоданы и уезжать в Сиам, Фогель, на белом слоне с баядеркой мчаться за тигром. Это будет спокойнее...

Шутка не вышла, как всегда. Фогель даже не улыбнулся.

3. ШРЕКФУС ВЫХОДИТ СУХИМ

Руди Шрекфус вел незавидную жизнь заводного насекомого. Он ползал по дымным полям, по переходам разбитых окопов, но самое худшее — были воронки от снарядов. Он ненавидел их больше всего. Он два дня жил в воронке, окруженный тяжелыми облаками дыма и молниями разрывов. Он менял противогазы, оружие, он терял товарищей, но главное, — он ползал, как заводной жук. Временами он командовал, свистел, стрелял, толкал упавших концом маузера, но ему не часто даже разрешалось подыматься на ноги.

Временами перед ним проносились видения: зеленые поля, громадное голубое небо, широкая белая дорога, он вступает в войну, идет по дороге веселый, как молодой бог, никакая опасность не страшна ему, он не наклоняет голову под пулями, а визжащий хоровод снарядов только подымает его на торже-

ственную уверенность. Потом он стал наклонять голову, как новобранец, потом он стал прятаться за выступы, искать прикрытий. Сейчас он только заводной жук, ползающий в гремящей трухе, в сухой размолотой крупе, в которую превратилось все вокруг. Он спит теперь, не думая, что его возьмут в плен, что взрыв сапы смешает его с землей, что газ обволокет его спящего; он спит крепко от великой усталости.

Когда он просыпается, он не находит перемен. Только газы меняют вид и окраску. Он видит отравленных людей с лиловой кожей, серебряными лицами, с красными, как роза, пятнами на руках и на лице; вой раненых идет от воронок, как будто воют испорченные вентиляторы. Так проходят шесть или восемь дней. Потом его отводят на отдых в тыл, в разрушенные деревни, на новые позиции, и он валяется в чьей-то разбитой постели и ест, не думая о еде.

Потом он снова ползет по дымному полю. Он даже не знает, какой пейзаж вокруг. Ему кажется, что перед ним все время подымаются в воздух тяжелые стены и непрерывно обрушиваются, так что земля гудит часами.

У него выросла зеленая морда хамелеона. Противогаз стал постоянным проклятием. Все кричат о газовой дисциплине. Как заводной жук, ползет Шрекфус между проволочных стен, отупело смотря в плавающие дымы, за которыми идут враги.

Небо раскрывается неожиданно. Оно полно гудением. Гудят десятки аэропланов. Они идут с такой скоростью, точно их зарядили на другой планете и они должны пробить землю, пройти ее насквозь. Крылья их видны все ближе. Шрекфус падает лицом в землю. Аэропланы сбрасывают стрелы. Стрелы тупо стучат по шлемам, по щитам орудий, вонзаются в доски и мягко пронизывают человека. Аэропланы поливают пулеметными лейками лиловые клумбы дыма. Они забрасывают бомбами, лопающи-

мися с захлебывающимся чавканьем — они проходят, на смену им является новый заградительный огонь.

Шрекфусу становится дьявольски скучно среди этих дней и ночей, превращенных в мясные лавки, где валяются неубранные туши, а мясники всегда пьяны от усталости и запаха крови, среди холмов, похожих на помойные ямы, где гниют на солнце отбросы необыкновенных размеров, среди животных с тупыми мордами и людей в зеленых масках с застылыми, рыбьими глазами, среди этих куч угля, золы, пепла и костей, на которых развеваются в дыму отсыревшие тряпки, называемые знаменами.

Потом к нему приходит отчаяние, он не может стрелять, от страшного нервного напряжения у него пропадает голос. Когда он смотрит, он видит на земле красные или зеленые большие пятна. Но это как раз не относится к его болезненному состоянию. Это пятна пристрелочных снарядов. Пушки работают, обливаясь потом. От всей страны останутся, как на луне, пустые воронки. Хорошенький пейзаж для будущего поколения! Но Шрекфус не хочет отдавать врагу и эти воронки, которые он так ненавидит. Его тошнит всякий раз, когда он сползает, сползает по гнилым стенкам воронки все ниже и ниже, и земля осыпается, и в ушах звенит, а на краю воронки стоит краснобурый туман, от которого кровь бросается в голову и дрожат ноги.

На шестой или на восьмой день он лежит на отдыхе, и далеко впереди его свиваются и развиваются волны дымовых завес. И вдруг начинают стрелять рядом, и отдельные выстрелы страшнее, куда страшнее многоголосого рева битвы. Что случилось? Шрекфус вылезает на дорогу, закрыв рукой глаза от солнца. Кругом прячутся люди, неодетые, растерянные, отдыхающие люди тыла, в которых не имеют права стрелять — они отдыхают, они вышли из битвы, они хотят дышать чистым воздухом и ходить на двух ногах.

И тогда он видит танк. Черная, ребристая, тихо гудящая машина вертится и время от времени окутывается дымом. Она стреляет на выбор. Белые вспышки разрывных пуль ударяются в ее бока. Но почему этот безумный танк один? Где же другие? Его водитель сошел с ума, зайдя так далеко, потерял представление о направлении. Он тоже зарвался от дикой усталости. Танк повертывается в сторону Шрекфуса. Танк стоит между сломанных кустов, как бы пофыркивая. Его обстреливают, как слона на облаве. Ему нехватает только хобота.

Шрекфус бросается на землю, потому что танк послал белое облако в его сторону. Где-то за домами взлетает земля и трещат крыши. Шрекфусом овладевает ярость. Он готов бежать к этой черной башне, бить ее кулаками, царапать ее ногтями, плевать на нее. Он видит на крыше танка бидоны, ряды привязанных бидонов. Танк собрался в далекую прогулку, если везет с собою такой запас бензина. Шрекфус выхватывает у соседнего солдата винтовку. Он кричит: «Пуль, зажигательных пуль!»

Зажигательных пуль ни у кого нет. Тогда он кричит снова: «Бейте по бидонам, бейте по бензину!»

Открывается нестерпимая стрельба. Шрекфус в бинокль видит, как пробиваются бидоны, как бензин стекает по плечам чудовища, он, наверное, просачивается внутрь, что делается там с людьми? Танк начинает вертеться. Бензин уже льется ручейками. И тогда приносят зажигательные пули.

Над танком вспыхивает сизое пламя, легкое и прозрачное. Танк бросается вперед и останавливается, врезавшись в кучу кирпича. Взрывается большой бидон. Пламя без искр растекается по черным бокам машины. Люди стреляют без перерыва. Из танка на землю соскакивают три человека. Они поднимают вверх руки. По их лицам течет бензин, их щеки багровы и полосаты от копоти и грязи, от удушливых испарений, губы потрескались. На них грязная, потная одежда. Повидимому, впереди

офицер. Он мало что понимает, он едва стоит на ногах. Если б он мог говорить, он сказал бы, что есть предел человеческой выносливости. Перенапряженный металл лопается, как графит. Сколько часов провели они в ползающей коробке в температуре печки, не смея высунуть голову?

Со штыками наперевес к ним бегут люди. Если им не помешать, они убьют этих трех, отнявших у них право на заслуженный краткий отдых. Танкисты стоят, шатаясь, с поднятыми руками. Шрекфус врывается в толпу, окружившую их.

— Назад! — кричит он. — Тихо, ребята, назад! — Кое-кто пробует залезть внутрь танка, и все же кто-то ударяет прикладом и валит на землю одного из танкистов, самого маленького. Тогда командир танка говорит: «пить!»

И Шрекфус видит, что он ранен. Рука его замотана бинтом. И потом он видит, что часы у пленного на руке остановились. Не зная почему, он говорит вслух: «Четверть шестого».

Офицер проводит рукою по волосам и снимает пенку какой-то копоти.

— Пить! — повторяет он и добавляет: — и спать.

4. КАЖЕТСЯ, ДА!

Это было поистине владычество газов. Как из злополучной бутылки арабской сказки однажды возник демон с отвратительным лицом и всемогущей силой, так из вытяжных шкапов фаберовской лаборатории вырвались видения, служившие армиям его страны и вдруг обратившиеся с неслыханной силой против них.

Это действовали вещества удушающие, вещества ядовитые, вещества слезоточивые, вещества раздражающие, вещества нарывные. Упорство их превосходило упорство самого лучшего борца. Горчичный газ ручьями тек по улицам городов, хлорное олово мутными языками дымовых завес окутывало горизонт, этиловый эфир сопровождал осколки ручных

гранат, хлорпикрин врывался вместе с окопными минами в проломы блиндажей, хлор вызывал молниеносное воспаление легких.

Газы подобно винограду проходили мрачные давильни и в жидком, сгущенном виде заполняли снаряды: иногда погибали не только те, против кого они были назначены, а и те, кто их приготовлял.

Газы, разъедавшие сталь и железо, впитывавшиеся в дерево, в кожу, в ткани, сохранявшие ядовитость неделями, заставляли людей судорожно держаться за непрочную маску противогаза и ждать часами смерти, с глазами, застывшими от ужаса и расширенным сердцем. Тогда приходил дифенилхлорарсин в виде смерча тончайших песчинок, легко пробегавших через черные поры угольной коробки. Людей начинало тошнить, нос и горло разрывало адское чиханье — люди срывали противогаз, и их встречал слабый чесночный запах иприта или мрачное дыхание фосгена.

В белом, зеленом, красно-буром, черном, синем и желтом дыму сто тридцать пять дней непрерывно сражалось шесть миллионов человек. Песчаные холмы пустыни песчаная буря передвигает с места на место. Эта битва далеко превзошла песчаную бурю. Она изменила всю природу, самый состав земли, она изменила даже полет птиц, птицы удалились в сторону, оставив вековой путь, а земля, избитая, смешанная с трупами, окровавленная, пустая, отказывалась что-либо родить.

Стороны сражались уже в неравных условиях. И одна сторона, медленно разламываясь на части, начала отступление. Над ней взвились тысячи аэропланов с боевыми кличками всех систем. Это шли Нюпоры, Виккерсы, Хавеланды, Бристоли, Кертиссы, Спады, чтобы добивать сверху отходящего, судорожно обороняющегося врага.

Уже зима заметала мелкой, холодной, липкой крупой поля сражения, уже тридцать дивизий го-

товились ударить по свежей дороге на Майнц, уже двенадцать союзных армий, имея за плечами миллионный резерв, готовились послать впереди себя невиданной силы газовый поток на последние позиции немцев, когда в туманный вечер, далеко от фронта, в городке, куда слабо доходил голос великой канонады, — седой человек, зеленый от усталости, сказал, опираясь на карту, другому измотанному человеку со свинцовым лицом:

— Кажется, мы проиграли войну?

И человек со свинцовым лицом ответил:

— Кажется — да.

Седьмого ноября в восемь часов вечера грязные, замерзшие часовые в двух километрах северо-восточнее Ла-Капель, в районе сторожевого охранения тридцать первого корпуса первой французской армии, увидели белый флаг парламентеров. Они приказали автомобилю остановиться.

5. НОЯБРЬ

Тяжелые сапоги, подбитые гвоздями, топтали нетерпеливо свеже-выпавший снег. Плечи, иные с сорванными погонами, все гуще заполняли переулок. Перед железной дверью в низкой ограде стоял раскрасневшийся человек, бесплодно махавший руками. Каждое его слово вызывало недовольство.

— Товарищи, я повторяю: здесь ничего нет. Здесь склад. Боевой склад запасов: дисциплина, товарищи. . .

Это было нехорошее слово. Это слово только что рухнуло, как будто последняя граната, кончавшая войну там, на Маасе, ударила именно в это слово.

— Видали мы дисциплину, довольно!

— Кому бережешь добро?

— Мы не ели второй день. Все бегут в разные стороны. Транспорт развалился.

— Там на складе хлеб и консервы!

— Что с ним разговаривать. . .

— Вперед, товарищи, мы уже громили склады, мы знаем, что там бывает.

— Не все жрать кайзеру!..

— Он уже в Голландии. Не беспокойся, ему тепло.

— А ну, вперед!

Человека в дверях оттерли. Густые удары прикладов раскачивали дверь. Потом появился ключ, дверь распахнулась. Толпа, — именно это была освобожденная от дисциплины, от казарм, от войны, возбужденная, свободная толпа, вооруженная винтовками, тесаками, карабинами, маузерами, ручными гранатами, — растекалась по двору. Двор был большой. Он походил скорей на плац.

В загородках, под навесом стояли серые баки, непонятные банки, жестяные бутыли, серые аппараты, высокие, изящные, с прорезиненными рукавами. Этих баков были десятки, они стояли, как необычные животные в стойлах, опустив хоботы к земле. Ничего съестного на этом дворе не было. В огражденных пространствах нельзя было найти ни зерна. Толпа топталась, оглушительно ругаясь. Эрна Астен, худой, в черной шинели, обвешанный гранатами, выбежал на середину мощеного двора.

— Товарищи! — закричал он. — Нас обманывали все эти годы. Нам привили бешенство. Нас старались уничтожать всеми способами. Здесь нет хлеба, да, его здесь действительно нет. Но здесь есть коечто другое. Знаете ли вы, что это за вещи? Это огнеметы и газометы, резервные огнеметы, те самые, из которых нас жгли, как собак; англичане скопировали свои вот с этих молодцов. Но эти молодцы начали раньше. Товарищи, у меня с ними особые счеты. Назад, товарищи, берегись!

Он взмахнул гранатой, сорванной с пояса. Люди бросились к двери на улицу, припали за камнями, иные плашмя ринулись на землю. Фронтовой опыт каждому подсказывал, что делать. Красное пламя осветило двор, и звон ломающихся баллонов пере-

носился из угла в угол. Эрна бросил вторую гранату. Кто-то пустил через каменный забор еще несколько штук. Гранаты рвались, разбивая пустые резервуары на куски.

Дым крутился волчками. Пахло горячим железом. Иные перегородки загорелись. Огонь подымался все выше, освещая изломанную груду огнеметов.

Люди ушли. Двор опустел. Одинокое пламя подымалось из-за деревьев, и тогда на двор пришел Штарке. Освещенная пламенем пожара, на гладких камнях двора перед ним лежала забытая бескозырка. На нее падал снег.

Штарке обвел пустыми глазами разгромленные баллоны.

Они умирали, одинокие, покинутые, с пробитыми боками, с оторванными шлангами, с выбитым дном. Все равно, через день здесь будут французы.

Кто-то тронул его за рукав. Он брезгливо оглянулся. Мимо него прошел солдат с обнаженной бритой головой, лихорадочным лицом, небритый, без погон.

— Папаша, — сказал он, не обращая внимания на Штарке, — дай-ка пройти! — И вдруг он увидел, что перед ним офицер. Он посмотрел пристально, как бы напрягая зрение, и вдруг решительно отвернулся, оглядел двор, нашел бескозырку, поднял ее, нахлобучил на голову и ушел с расстегнутым воротом, глотая снег раскрытым ртом, как астматик.

— Вшивая сволочь! — сказал Штарке.

6. ПОБЕДИТЕЛИ

Когда был низвергнут Наполеон и заключен Венский мир, все танцовали. Как сообщают историки, император танцовал, короли танцовали, Меттерних танцовал, лорд Кэстльри танцовал. Только князь Талейран не танцовал, и то потому, что был хром.

В большой комнате, о которой идет речь, в комнате теплой и уединенной, с исторической мебелью красного дерева и золотыми украшениями, с исто-

рическими воспоминаниями разных цветов, только двое пробовали танцовать довольно оживленный танец, страшный танец. Они бегали вокруг красного стола, мимо шкапов, удивленно взиравших на них, они бегали, два тяжелых, плотных, невысоких человека, и с индюшечьей горячностью рокотали.

— Поймите, маршал, — рокотал человек в сюртуке: — война кончена, кончена. Вы поедете в Спа, к немцам, на перемирие...

Маршал махал руками.

— Я не поеду в Спа. Сколько раз вам говорить?! Я не хочу мира. Пусть едет кто хочет. Война не кончена. Кто вам сказал, что война кончена? Это все интриги. Они украли у меня победу. Когда я держу для удара сто дивизий, когда я должен перейти Рейн, войти в Берлин, перекинуться в Польшу, немедленно уничтожить большевиков, это гнездо, откуда воняет на всю Европу, прогнать немцев из России, Румынии, — вместо того, чтобы сражаться, они посылают парламентеров; это — шулерство, а вы говорите: поезжайте в Спа. Я не хочу слушать, мне противно.

— Маршал, если мы последуем за вами, мы ввергнем Европу в новую войну, в хаос, в ужас. Война кончена. Все хотят отдыха. Отныне мы — люди в сюртуках, будем стоять на страже справедливости. Маршал, все получат по справедливости. Самый паршивый крестьянин, у которого боши отняли одну корову, получит две. Мы заставим их застроить все дома, разрушенные ими, по тем планам, по которым они были построены впервые. Мы пустим их готовыми, мы оставим им воздух... Но война все-таки кончена. Весь этот гром пушек — со вчерашнего дня уже история. Вы поедете в Спа, вы повезете наши письменные условия.

— Я не почтовый ящик — возить ваши условия...

— Маршал, вы не истеричная женщина. Я помню, что говорю с героем Франции. Вы жертвовали

жизнью там, на фронте, а разве мы в тылу мало работали? Я сам отлично помню, как я прикалывал орденские ленточки на грудь рабочим, ослепшим от иприта... Да, да.

— А! Вы прикалывали ленточки, а я, сколько лет я портил себе кровь, дрожал каждую битву, каждый час, не мог спать, не мог есть неделями, а когда шесть дивизий повернули на Париж штыки, где были бы вы, если бы не я? И вы хотите, чтобы я поехал к немцам... Я не могу их видеть, я могу их только уничтожать. Понимаете — уничтожать.

— Я понимаю ваши чувства, маршал, но война кончена. Мы не одни. Союзники считают войну конченной. Пушки должны замолчать. Им разрешается только последний салют в честь мира, который мы сумеем заключить. Сегодня день чуда: бумажный франк сравнялся с золотым франком. Мы, государственные люди, кое-что понимаем в этом, но ехать в Спа должны вы. Победителю принадлежит честь принять шпагу от побежденных. Вы поедете в Спа, вы сядете за стол с немецкими уполномоченными...

— Я сяду, да, я сяду, но они не сядут. Я буду их держать стоя, стоя, с вытянутыми по швам руками. Я буду говорить, а они будут слушать и молчать, ни одного слова, я не позволю им ни одного слова. И потом я велю адъютанту дать им перо, чтоб они подписали мои условия без промедления.

— Совершенно верно. Они будут стоят, они будут молчать. Делайте с ними, что хотите, но вы сейчас же поедете в Спа. Мы умоляем вас, маршал. Страна этого никогда не забудет. А они пусть стоят, пусть часами стоят. Это уже неважно. Самое главное — война выиграна, и мы победили. Ну, что же, маршал?

— Чорт с вами! Я еду в Спа.

Часть пятая

1. ОКОРОК

Это было поистине сказочное окно. Желтые овалы сыров источали нежные прозрачные слезы; колбасы, декорированные зеленью, лежали в серебряной кожуре, заманчиво изгибая жирные туловища; сосиски висели гирляндами; икра, черная и красная, переливалась в бочонках, обложенных льдом; на льду лежали, изображавшие осень, желтые и красные листья; столбы масла образовывали арку, из которой ползли огромные омары, с шершавыми клешнями, полными мягкого розового мяса; утки, гуси, куры, паштеты, страсбургские пироги, пикули, грибы, лимоны толпились вокруг, но президентом этой гастрономической республики, конечно, являлся окорок. Окорок превосходил воображение самой мечтательной хозяйки. Окорок укладывал на лопатки гастронома. Именно окорок останавливал прохожих. Он занимал центральное место. Оно принадлежало ему по праву.

Обтянутая тонкой, покрытой крапинками сала, коричневой, мягкой, великолепной кожей, обвитая белоснежным бархатным узким кольцом жира, лежала влажная, просящаяся в рот, розовая, как фламинго, единственная в мире ветчина.

Белые жилки, точно нарисованные лучшим мастером, бесподобно подчеркивали свежесть и очарование розового мяса. Казалось, от него исходит обольщающий жар и благоухание и проходит сквозь толстое зеркальное стекло и, попадая в нос прохожим, поворачивает их немедленно лицом к окну. И действительно, редкий пешеход не останавливается, невольно любуясь соблазнительным зрелищем. И уже действительно редкий пешеход открывал дверь и входил в магазин, потому что цена этого мяса была равна его великолепию.

Уже несколько времени, не сводя глаз с окорока,

стоял человек в узком пальто и фетровой шляпе, надвинутой на глаза. Он смотрел только на окорок. Зрители сменялись у окна и шли дальше, а он стоял и смотрел. Он даже высовывал по временам кончик языка, проводил по сухим губам, он делал даже какие-то движения рукой и перебирал ногами, точно начинал танцовать чарльстон в честь этого удивительного окорока, но язык прятался, руки падали в карманы, ноги успокаивались, подходили новые люди поглядеть, а он все смотрел не отрываясь.

Иногда он делал попытку удалиться, но невидимая сила возвращала его на прежнее место. Тогда он вынимал папиросу. Долго закуривал ее, как бы ища мысленно выход из положения, но папироса подходила к концу, дым таял, а окорок оставался. Тогда он начинал незаметно облизывать губы и сверкать глазами. Минутами он несомненно забывал, что он открыт глазу постороннего наблюдения.

Он поймал на себе удивленный злой взгляд и посмотрел на очередного незнакомца с нескрываемой враждебностью. По лицу незнакомца, закутавшего шею пестрым шарфом, по его вызывающим глазам и костюму рабочего он понял, что человек этот подметил его болезненный интерес к окороку и готов издеваться.

С человеком, кутающим шею шарфом такого безумного цвета, он не хотел иметь ничего общего. Он отвернулся и вынул папиросы. Человек подошел и стал вплотную. И когда он, дымя папиросой, снова вперил взгляд в окорок, человек в шарфе сказал:

— Смотри — не смотри, глазами сыт не будешь!

Человек в фетровой шляпе повернулся и, как ему ни было досадно, оставил окно и медленно отошел, засунув руки в карманы.

— Руки в карманах разрешается держать сколько угодно, — сказал ему вслед рабочий.

Человек в фетровой шляпе вернулся. Разве он не волен стоять и смотреть? За это не сажают в тюрьму и не берут денег. И он встал рядом с рабочим,

и глаза его снова заискрились. Рабочий смотрел на окорок, и розовое мясо стояло перед ним каждой белой жилкой, каждой каплей жира. Он плюнул.

— Вот это и есть кризис. Это не для тебя и не для меня, товарищ! Для кого же это?

Человек в фетровой шляпе решил, что это уже слишком. Он окончательно оставил окно и ушел быстро, чтобы уже не возвращаться больше. Человек в шарфе отошел на три шага и начал рыться в карманах. Желудок его был пуст, как бутылка, в которой гуляет ветер. Наконец, он нашел, что искал. Это была гайка, давно вышедшая из работы, со стертыми краями, но тяжелая на вес. Он прикинул ее тяжесть для проверки, отошел к мостовой и оглянулся. Поток автомобилей только что пропустил пешеходов и продолжал шуршать по асфальту. Гайка ударила с пронзительным коротким визгом в средину зеркального стекла. Человек, может быть, на фронте был когда-то гренадером. Уверенность, с какой он метнул гайку, изобличала опытную руку, помнившую вещи потяжелее гайки. Стекло не разлетелось. Оно покрылось громадным сиянием трещин, каждый рубец которых сверкал в свете разноцветных лампочек очень самостоятельно. Над окороком встало сияние бесчисленных трещин.

Приказчики стояли на улице перед окном и махали руками в блестящих нарукавниках. В белоснежных халатах они напоминали заклинателей, от которых сбежал дух. Никто не знал, как это случилось.

— Прошлую неделю было то же самое.

— В северном районе они разгромили лавку три дня тому назад.

— Нужно принимать меры.

Сквозь толпу плыло лакированное кепи полицейского.

Человек в шарфе был уже далеко. Он шел быстро и не оглядывался. Ему начали попадаться навстречу лакированные кепи все чаще и чаще.

Иногда они стояли кучками и совещались. Впереди, видимо, происходило не совсем обыкновенное. За углом на маленькой площади человек в шарфе остановился. Площадь была захвачена демонстрацией. Человек вгляделся в ряды. Это были птицы его полета. Это шли безработные, подняв плакаты, которые он оставил без внимания. Не в первый раз он видел их и очень хорошо знал, что там пишется. Он еще знал, как трещат палки плакатов, когда их ломают полицейские, он даже знал, какой след оставляет резиновая палка на плечах и на спине. Полицейские сжали демонстрантов с боков. Демонстранты двигались тихо и мрачно, точно копили силу. На всех лицах недоедание поставило свой штамп. И в белизне электрического света иные закрывали глаза от слабости. Полицейские шли по сторонам, как конвоиры, точно они взяли в плен эту враждебную армию и отводили ее за проволоку в глубокий тыл. Прохожие останавливались немногие. Они уже привыкли. Иные женщины в рядах вели за руку детей. В середине процессии кто-то закричал, нельзя было разобрать, что крикнули. Потом возникло некоторое движение, точно в толпу упал камень, и все спрашивали друг друга, куда он упал. Потом раздалось несколько голосов, люди пели хриплыми, но уверенными голосами. Человек в шарфе слушал ухмыляясь. Словно его радовали:

In der Welt muss das Proletärheer
dienen nur dem Profit . . .

— Как будто так и есть, — сказал человек. Полицейские подняли и опустили палки. Песню подхватили с края. Она шла над толпой, повергая плакаты в некую дрожь. Плакаты бледнели перед словами песни, ударявшими на них сверху:

Doch in unserer UdSSR
klingt uns ein neues Lied,
klingt von unserer gewaltigen Kraft,
der sozialistischen Planwirtschaft.

Внезапно передние ряды прорвали полицейскую цепь. Поднялся крик. Толпа напоминала крутую кашу, в которой мешают ложкой, не очень стесняясь. Среди крика и беспорядочного шума несколько здоровых глоток продолжали вести огненную линию песни:

Von unserem Willen zum Sieg!
zum Sieg!..

Передние ряды прорвались в ту улицу, в какую хотели. Лакированные кепи перегруппировывались. Плакаты качались уже как знамена. Можно было уже драться за эти палки и за эту материю, отстаивая их неприкосновенность.

— Они будут стрелять! — закричала женщина.

— Ну, ну, — сказал человек в шарфе, — это они умеют.

Mögen die Kapitalisten auch schrein,
das soll unsre Parole sein
in der Sowjetrepublik...

Пел уже один голос, и едва он кончил, как десятки голосов подхватили и понесли припев:

Ran! ran! alle Mann ran!
mit dem Traktor, ran mit Bahn und Krahn!
ran! ran alle Mann ran!
*an dem Fünfjahresplan!**

Свистки пронеслись по улице с быстротой пули. Плакаты заколебались и пошли книзу. Полицейские ринулись в толпу.

Человек в шарфе с криком *ran! ran! alle Mann ran!..* сшиб ближайший лакированный блеск, и свалка охватила всю площадь.

---

* Во всем мире пролетарская армия должна служить только наживе, но в нашем СССР звучит нам новая песня, звучит о нашей мощной силе социалистического планового хозяйства, о нашей воле к победе! Пускай кричат капиталисты, наш пароль должен быть в Советской республике: вперед, вперед, все вперед с тракторами, с дорогами, с подъемными кранами вперед, вперед, все вперед, к пятилетнему плану.

Из окон смотрели люди. Магазины закрывались с неслыханной быстротой.

Резиновые палки работали по спинам. Сухо трещали ломающиеся палки плакатов. Прохожие, стиснутые на углу, прятались в проезды. Широкоплечий старик с лиловыми щеками презрительно постукивал палкой о тротуар.

— Ты слыхал эту песню? — сказал он. — Да, в наше время Германия была другая.

— У нас, Отто, — отвечал высокий, с бакенбардами, старик, — ты забыл, была Германия порядка. Давай, однако, попробуем пробраться. Мы опоздаем на наше собрание. Не ждать же, когда это кончится?

— Это кончится скорее, чем ты думаешь. Пусть только наш старик наверху сообразит кое-что.

2. ИОГАНН КУБИШ

Отто фон-Штарке, опираясь на свою черную палку, поздно возвращался домой. С ним это случалось не так часто, но сегодня был изумительный вечер, вечер воспоминаний, собрание его ближайших друзей — ветеранов войны.

Шестнадцать лет назад они вошли в расцвете своих сил в огненное море, и оно выбросило их на пустынный берег, обожженных, изуродованных, обиженных, озлобленных калек. Конечно, можно спрятать мертвецов, одних просто в землю, других в пышные мавзолеи; конечно, можно убрать с улицы инвалидов, засунуть их в мастерские, в углы, где никакая сила не отыщет; конечно, можно писать мемуары, доказывая, что ты не побежден, что это ошибка, что, если бы не взбунтовался флот, не разложился бы тыл, где пакостили шкурники штатские и социалисты, не вмешалась бы некстати Америка, — все было бы иначе. Но куда спрятать эти массы на улицах, этих голодных рабочих, вылезших из всех ям, из всех шахт, подвалов, заводов, вопящих день и ночь о своей нужде, куда спрятать ни-

щету, которая с каждого угла косит огромные глаза и тянет худую, как плеть, руку. Вечер был, правда, полон славных воспоминаний. Портреты вождей великих армий слушали достойные речи, даже тосты напоминали лучшие времена империи, но узкие, как гроб, комнаты майора Шрекфуса вмещали только вчерашнюю Германию, Германию, о которой не хотели слышать эти толпы, певшие дикие песни о варварской стране, висящей где-то на краю света.

Это непонятно ему больше всего. Как можно не чувствовать себя немцем, прежде всего немцем, а они прежде всего горланят о братстве с трудящимися, как они говорят, всех стран.

Так рассуждая и стуча палкой, Штарке шел по бульвару к своей тихой квартире на далекой улице. Пенсионеру войны не так-то легко жить в эти сумбурные времена. Правда, кое-что есть у него в банке, но Штарке никогда не был нищим.

На скамейке налево под деревом несомненно спал человек. Штарке задержался перед скамейкой. Он стоял над спящим и смотрел. Что он хотел прочитать в усталом и диком лице? Закрытые глаза походили на провалы, в которые можно положить по музейному талеру и талеры утонут во мраке этих провалов. Что говорил ему шарф, закутавший худую шею и заправленный под изношенный, застегнутый на громадную пуговицу пиджак? что ему могли рассказать стоптанные сапоги этого человека? может быть, он нашел их на помойке? Нехватало еще, чтобы он перевязал их веревкой, но, кажется, это ему придется сделать в ближайшие дни.

Спящий даже не замечал, что свет фонаря падает ему прямо на лицо. Но спать он мог, не боясь за карманы, так как они были освобождены от таких мелочей жизни, как деньги.

Штарке вздохнул и прижал набалдашник своей палки ко лбу. Так он стоял, изучая спящего и обдумывая нивесть что. Одна рука лежавшего была засунута в карман, другая свалилась со скамейки,

и рукав задран был выше локтя. Штарке оглянулся вокруг. Все было тихо. Он нагнулся к руке. Около локтя был шрам, точно два крючка запущены были в мясо и протащены с силой вниз, образуя на руке рисунок наподобие буйволовых рогов. Шрам был лиловый, старый, кожа около него дряблая и серая. Фонарь светил над спящим, как на сцене.

Штарке дотронулся палкой до спящего. Тот не просыпался. Штарке ударил его легко по плечу палкой. Спящий сел сразу и открыл глаза; глаза ничего не видели. Он протирал их добрую минуту, затем спустил ноги совсем со скамейки, поправил фуражку и плюнул.

— А я уже думал, это шупо, * — сказал он.

Штарке отступил на шаг.

— Какого дьявола вы вошли без стука в мою спальню, дядя?

— Я разбудил вас, — не обращая внимания на его слова, сказал Штарке, — чтобы спросить — как вы относитесь к тому, чтобы переночевать под крышей?

— Это надо подумать, — сказал, вздохнув, человек, перематывая шарф, — я не рождественский мальчик, чтобы меня подбирали под елкой.

— Я вам предлагаю самым серьезным образом ночлег и ужин.

Человек встал и расправил руки со страшным хрипением. Он откашлялся, снова сел и смотрел на Штарке, как бы сомневаясь в его существовании.

— Кого ты хочешь починить, старик? — спросил он. — Ты, может, по части мальчиков, так я стар и у меня кулаки еще действуют.

— Я не понимаю вашего грубого языка. Я последний раз предлагаю вам ужин и ночлег. За ужином мы поговорим.

— Ты хочешь дать мне пожрать, — сказал чело-

* Шупо — презрительная кличка германских полицейских.

век, — если не далеко, то пойдем. А ты не боишься итти со мной?

— Я старый солдат, — сказал Штарке.

— Здорово холодно, — пробормотал человек в шарфе, — надеюсь, у тебя есть чем погреться?

Штарке не ответил. Он шел, стуча палкой, и рядом с ним шагал высокий человек, засунув руки в карманы.

Они вошли в квартиру Штарке. Штарке принес холодного мяса, картофельный салат и чай. Неполная бутылка красного вина появилась на столе. Человек в шарфе не ждал приглашений. Вареное мясо ныряло в его горло, как будто падало в бочку. Съев весь салат, он отер хлебом тарелку и все это запил вином. От чая он отказался. Он сидел, смотря на Штарке, совершенно не рассматривая комнаты. Он смотрел на Штарке, точно ждал, что тот сейчас начнет показывать фокусы.

Штарке ждал, что его гость поблагодарит за ужин. Гость не сказал ничего. Он вытер пальцы о штаны и зевнул. Потом стал чистить зубы концом спички. Штарке открыл ящик сигар и протянул гостю. Человек снял шарф, положил его себе на колени, так что концы его свесились на пол. Он закурил сигару, и глаза его пропали в синем дыму. Он полоскал рот сигарным дымом. Тогда Штарке сказал спокойно, переходя на ты:

— А теперь, Иоганн Кубиш, ты расскажешь мне, как ты дошел до той скамейки, с которой я тебя поднял сегодня...

Человек положил сигару в тарелку и нехорошо засмеялся.

— Вот не думал, что я буду ужинать в полицейском бюро.

— Здесь не полицейское бюро, — отвечал раздраженный его смехом Штарке, — но если посмотришь на меня повнимательнее, то вспомнишь тоже что-нибудь более приятное, чем сегодняшняя ночь. Я — Штарке, брандмайор когда-то, а ты сын моего штей-

тера Людвига Кубиша, погибшего в огне. Я тебя носил на руках, когда ты не умел еще ползать. Когда же ты вырос, ты упал с большой раздвижной лестницы, на которую любил лазить. У тебя на всю жизнь остался тот шрам, что находится ниже локтя на правой руке. Так ли это?

— Если бы ты не сказал мне все сразу сейчас, я тебя принял бы за чревовещателя или, как там называют тех, что угадывают на расстоянии. Да, я и есть Иоганн Кубиш — это так и есть. Кое-где имеются даже и документы.

— Ты был, кажется, на войне?

— Еще бы, кто не был на ней? Вся армия состояла из нас; только в начале, когда были победы, начальники не считали нас за людей, а за механизмы вроде пушек. Вставай, копай, стреляй, ложись. Не смей думать. Вставай, копай, ложись. Люди явились потом, в восемнадцатом. Ты, наверно, никогда не думал, что у твоих солдат в голове ящик, в котором лежит кое-что человеческое. Нам вообще не везло. Моему поколению особенно. Мне с детства уже было плохо. Сначала лестница, ушиб головы и прочее. Потом брюшной тиф; доктора сказали: не перегружайте его верхний этаж, не обременяйте его знаниями, он не выдержит, и меня отдали в слесарную мастерскую. Ну, на фронте нанюхался я разного газа — по-моему, его выдумывали, как номера в цирке, каждую неделю новый — обливали меня всякой пакостью, раз даже я из миномета получил в спину банку с австралийской обезьяной. . .

Он затянулся сигарой, посмотрел на Штарке и покачал головой:

— Никогда бы не узнал! Ты так изменился, дяденька, что в жизни не узнать тебя. Постарел ты. Видно, война не в красоту всем.

— Говори только о себе и не называй меня дяденькой.

— Можно и о себе. Но на войне я узнал, что к

чему. Меня просветили в лоск. А потом в революцию кое-что со мной поработал.

— Хороши были твои учителя. Кто же это тебя просвещал?

— Первым моим учителем был кузнец — Петр Брайэр — хороший кузнец, замечательный кузнец, всякому дай бог таким быть, он мне объяснил разницу между хозяином и рабочим, между государством и революцией, между трудом и эксплоатацией. Научные слова все.

— Надеюсь, на него нашлась хорошая веревка, на твоего кузнеца?

Кубиш закашлялся. Он слишком много захватил зараз сигарного дыма. Он сидел почти развалясь, и шарф трепался у него на коленях.

— Брайэр сейчас коммунист. Вторым моим учителем был слесарь Томбе, убит в последний день войны, такая досада, а это был герой, он о фитиль гранаты зажигал папиросы, прежде чем бросить гранату. Он мог двоих столкнуть лбами как орехи. Третий был славный парень. Погиб в революцию в Баварии — Пауль Зельт. Мне рассказывали, как он погиб. Он вышел из Совета народных комиссаров весь увешанный бомбами, поскользнулся на лестнице, упал, и бомбы все взорвались. Грохот был такой, что магазины закрылись во всем квартале. Вот они и учили меня уму-разуму. Был еще один, Эрнст Астен, из штрафной роты студент, бунтовал в роте, с ним я дольше всех оставался. Пришли мы в Берлин и заняли рейхстаг. Грязные, сам знаешь, с фронта. Нас так и называли «вшивый отряд». Ну, вшей у нас было достаточно.

Штарке остановил его. Лиловые щеки его надулись, глаза забегали по потолку. Штарке вспоминал.

— Астен, Астен, Эрнст Астен — я помню, как это было. Да, это был любовник моей племянницы. Мы принимали его за английского шпиона, который через Алиду добирался до моего огнемета. Его раз

видели в разговоре на улице с одним англичанином, причастным к разведке, да его мы упрятали в штрафную роту. Я хорошо это помню, да, да. Где же он теперь?

— Мы с ним были спартаковцами, дрались на баррикадах, а сейчас он в тюрьме, он избил какого-то майора, — чорт его знает, с дурацкой какой-то фамилией, Шранк... Шрунк... Шрекфус, кажется, — при исполнении обязанностей. Ну, его и припаяли.

— Что же ты думаешь делать, несчастный человек?

— Неизвестно, кто несчастнее. Я равнодушен к богатству, а те, кто неравнодушны, скоро будут раскаиваться. Как кто-то однажды сказал в воскресной школе: богатство вроде морской воды — чем больше пьешь, тем больше хочется. А меня гонят отовсюду, не дают мне работы за политику, хотя, говорят, сейчас даже инженеры без работы. Один мой приятель думал, думал и махнул в Советский союз к большевикам. Ничего, пишет, хорошие ребята.

Штарке встал и прошелся по комнате. Кубиш теперь только начал осматриваться, но довольно равнодушно.

— Кубиш, — сказал Штарке, — рабочие должны работать, правители должны править. Ум государственный, торговый, военный и ум мастерового — разные вещи. Смотри на меня, Кубиш, я прожил честную жизнь и живу в достатке, и могу смотреть в глаза людям и не спать, как собака, где придется. И мне никто не грозит тюрьмой. Неужели у тебя при виде моей тихой и скромной квартиры нет никакого желания, тайной мысли хотя бы, иметь такой же спокойный угол? Неужели тебя не берет зависть, что я сплю на чистой теплой мостели, в хорошем доме, где тепло и уютно?

Кубиш свистнул.

— Дядя! да меня не берет никакая зависть. Мы

все скоро будем спать на теплой постели и в теплом доме.

— Кто это — мы?

— Да мы все, кто спит на скамейках, в ночлежках, в старых трубах, в подвалах, рвань всякая, те, что не жрут по три дня.

— Что же это за чудо снится тебе, Иоганн Кубиш?

— Да какое же чудо? Просто это будет революция. Не та, в которой мы подкачали, а настоящая наша, красная революция. Ведь не может же так продолжаться без конца? Я тоже грамотный и с коммунистами я терся достаточно, и газеты коекогда читаю, и знаю, что нас, безработных, в Германии сейчас миллионов шесть, а богатство у нас самое замечательное. Говорят, мы должны союзникам каждый по две тысячи долларов. Ну, уж если меня оценили в такую сумму, могу ли я пропасть? Ясно — никогда. Работы нам не дают. Есть даже поговорка, что в Германии каждую минуту вылезает из материнской утробы один шупо и два безработных. Но все же два безработных как-нибудь одолеют одного шупо.

Штарке сел, скрестив на груди руки.

— Так, Иоганн Кубиш, я слушаю внимательно все, что ты мне говоришь. Значит, старая Германия, старая родина — ничто для тебя?

— Вроде картинки, — сказал Кубиш, беря вторую сигару. — В детстве такие книжки нам выдавали в школе, но мы не читали, там было все про одно — и флаг был один и тот же и орел один и тот же. Красная Германия — это еще куда ни шло. Иоганн Кубиш постарается что-нибудь сделать для нее, а старая Германия — это вроде окорока. Я сегодня видел замечательный окорок. Купить его нельзя, денег нет, кризис. Нужно на автомобиле ехать за тем окороком.

Штарке озабоченно морщил лоб. Он тер своей теплою ладонью колено и смотрел в пустую тарелку

из-под салата, будто хотел в ней прочесть будущее Германии.

— Ты забыл одно, Кубиш, что у правительства есть сила, для того чтобы раздавить таких, как ты.

— Ты, может, намекаешь на газы... И танки там. Но мы видели это на фронте. В конце этой улицы есть фабрика Курца. Там башня такая большая. Ходят слухи, что в ней выделывают новейший ядовитый газ. Ну, на всех газа нехватит. На фронте меня тоже душили, но, однако, я жив. Конечно, мы поубавим людей в Германии, кое-кого сократить придется. Это наверняка. Должен же кто-нибудь отвечать за то, что Кубиш валялся, как пес, целые годы в грязи и целые годы, всю жизнь его швыряли сапогами в задницу то туда, то сюда. Нам дают жрать теплые помои, а сами едят окорока. Я этот окорок долго буду помнить. Ну, ничего, я им расквасил окно хорошей гайкой.

Штарке резко поднялся со стула, Кубиш встал тоже и начал заматывать шарф вокруг шеи.

— Значит, ты красный, ненавидящий государственный порядок, порядочное общество, не верящий ни во что святое...

— Как будто так оно и есть, — сказал Кубиш, продолжая заматывать шарф.

— Как же ты пришел ко мне и ел мой хлеб?

— Хлеб не твой, дядя. Что значит твой хлеб? Хлеб во всем мире только и есть, что трудовой. Его пек рабочий. Разве ты сам пек его? Ты здесь ни одной вещи не сделал сам, не так ли?

— Ты величайший мерзавец, — сказал Штарке, — и с меня довольно. Надеюсь, ты не претендуешь на ночлег в этом доме после всего сказанного.

— Я так и знал, — сказал Кубиш, — что ты меня выставишь. Смешно было бы, если бы ты уступил мне свою постель.

Штарке стоял уже в передней.

Кубиш взял третью сигару и ушел, не закрыв дверь и не оборачиваясь.

3. ПРОФЕССОР ФАБЕР ПОЖИМАЕТ ПЛЕЧАМИ

Профессор Фабер сидел у японского экрана, и ворох газет валялся у его ног. Большой синевато-серый дог лениво зевал в углу. На столе стояла карточка Ирмы в весеннем костюме, в шляпе, похожей на авиаторский шлем.

Фотография была снята в Италии, на озере Гарди, среди тихих садов и тихих вод.

Тоненькая горничная, похожая на кинематографическую статистку, держит серебряный поднос, на подносе лежит карточка. Ирма рассеянно читает: Отто фон Штарке, майор в отставке.

Она пожимает плечами:

— Кто этот Штарке, ты не знаешь, Карл?

— Первый раз в жизни слышу эту фамилию.

— Он хочет видеть вас, господин профессор, — говорит горничная.

— Проводите его в кабинет, я сейчас выйду.

Фабер, ступая по газетам, гладит дога между ушей, прячет очки в футляр и идет в кабинет. Они сидят, и в комнате постепенно начинает чувствоваться настороженность.

Штарке кладет лиловую подагрическую свою руку на колено и начинает кашлять; откашлявшись, он трогает себя за грудь, за то место, где видна бело-черная ленточка. Это должно придать ему храбрости.

— Меня зовут Отто фон Штарке. Сейчас я старик. В свои зрелые годы до войны я изобрел огнемет. Я усовершенствовал его во время войны и причинил врагу много бед. Меня называли Князем тьмы. Я думал, что мой огнемет решит войну, но тут появились вы. Вы, человек, открывший человечеству, что такое боевой газ. Вы создали газовую войну и победили меня. Вы, смею сказать, как художник, наполненный научной силой, как хотели раскрашивали лицо войны, а я остался синицей, которая не зажгла моря. Но море войны имеет

свои приливы и отливы. Прилив погубил меня и вас. Он погубил Германию. Я пришел к вам не за тем, чтобы сказать только это. Вы — человек, который не раз еще придет на помощь своей стране.

Фабер прерывает его:

— Не забудьте, мой друг, что существует сто семьдесят первая статья Версальского договора. Производство газов этой статьей запрещается в Германии навсегда. Мы применяем химические гранаты, и то самые добродушные, при разгоне рабочих манифестаций. И только. И только.

Штарке сжимает подагрические кулаки.

— Господин профессор, договоры пишутся людьми. Договоры уничтожаются людьми. Что мы видим сейчас в Германии? Хаос и канун революции. Я, старый солдат, я знаю войну и то, что за ней последовало. Я понимаю многое с полуслова. Я пришел, чтобы только спросить у вас: скажите, господин профессор, ведь, это еще не все...

Фабер надувает щеки.

— Что вы хотите сказать: «это еще не все»? Что вы подразумеваете, говоря: «это еще не все»?

— Я подразумеваю ваш ответ. Я повторяю: я завидовал вам, были минуты, когда я ненавидел вас, вы отняли у меня славу, но ваша победа была так велика, что побежденный стал почитать вас, гордиться вами, — скажу так: старая Германия, которая бьется во мне, спрашивает вас — воскреснет она или нет?

— Господин майор! Один раз я вышел из своей лаборатории, чтобы доказать людям настоящую мощь науки. Судя по вашим словам, я доказал. Придет ли другой такой момент — я не знаю, я тоже не молод.

— Господин профессор, я не верю вам. Башня завода Курца — это же сегодняшний день...

Фабер откидывается на спинку кресла. Он недоволен.

— Господин профессор думает, что он вне поли-

тики. Но его наука служила на германской службе, она способствовала победам германских армий. Вы не докажете мне, что вы не германец. Я только хочу знать, какой вы германец: германец третьей империи или, страшно сказать, смешно сказать — Советской Германии? Или вы умываете руки?

Фабер пожимает плечами.

— Вы отказываетесь отвечать? Тогда все же скажите, кому же угрожает башня завода Курца?

Фабер вторично пожимает плечами.

— Она угрожает людям ограниченного ума!

4. БОГАТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

— Мне сказали, что вы очень больны, что вам трудно разговаривать. Я не позволю себе утомлять вас. Но я искал вас так долго по всей стране, что сегодня не могу уйти, не высказав того, зачем я здесь.

Он говорил с явным акцентом. Серый костюм, серые волосы, серое лицо с узкими губами и серые глаза прекрасно маскировали его. Нельзя было отгадать ни его профессии ни его намерений. Серую перчатку с левой руки он не снял, он положил руку в карман вместе с перчаткой. Штарке плотно был вбит в мягкое высокое кресло. Он не сказал ни слова. Он только кивнул головой, и незнакомец сел.

— Мое имя не играет никакой роли. Оно ничего не откроет. Если я скажу, что когда-то меня звали Хитченсом, а потом Стоком, а потом Лавуа, а потом Катарини, а потом опять Хитченсом, то я переверну только несколько страниц моей биографии. Достаточно вам знать, что я искал именно вас.

Незнакомец наклонился и долго рассматривал темную, тяжелую фигуру Штарке, точно замурованную в кресле.

— Так это и есть Князь тьмы? Так вот он какой! знаменитый Князь тьмы, которому я подарил свою левую руку, — он вынул руку из кармана и ударил

ладонью по столу. Легкий звон протеза был заглушен серым сукном. —

«В тысяча девятьсот пятнадцатом году ваш огнемет и удушливые газы нагнали на нас такую панику, что люди обезумели от страха. Вы не воспользовались вашими неожиданными возможностями и дали остыть нашим головам от страха. Я никогда не занимался в упор военным ремеслом. С того дня, когда я узнал ваш огнемет, в меня вселился дух войны. Злоба поддерживала меня, как пробковый пояс утопающего. Я утопал в трудностях, но все же мои первые изобретения имели успех — смешно сказать, я закапывал в землю бидоны из-под керосина и стрелял бидонами из-под воды, начиненными газом. С тех пор я работал как одержимый. Я не буду говорить о том, что вы прекрасно знаете. Огнеметы и газометы Хитченса доставили вам не мало горьких минут. Когда я в начале работы учился на опыте фронта, меня угостили из вашего огнемета сравнительно любезно — я отделался одной рукой. Я дал себе тогда слово узнать имя человека, которому я обязан тем, что заразился лихорадкой войны, бешеной лихорадкой, грызущей меня целые годы. Я узнал сначала, что вас зовут Князь тьмы, но это было поэтическое определение, не более. Затем я узнал, что вас зовут Отто фон Штарке, и я сказал себе: я отыщу этого человека, не для того, чтобы оскорбить его, не для того, чтобы убить, а для того, чтобы сказать ему, что он герой».

Штарке молчал.

— Я потерял любовницу, война стала моей любовницей, я — спортсмен, лишился всех игр, без руки нет спортсмена, война стала моим спортом. Я — доктор философии — сейчас, когда философия умерла — наслаждаюсь философией войны. Наше время — время непрерывных боевых столкновений. Я скажу вам, что десять лет, прошедших после войны во Франции, я редко выходил из боя, а если выходил, то шел в лабораторию, чтобы оттуда снова

вернуться в бой. Где я воевал? Возьмите войны последних лет, и вы увидите, что их не так мало. Но все эти войны — сон в летнюю ночь перед той новой войной, которая охватит мир. Пушечное мясо подросло во всех странах для новой игры. Капиталисты и ученые пойдут на войну, одни — боясь смертельного роста пролетариата, другие — из разных смешанных чувств. Профсоюзные чиновники демократии разведут соус пропаганды. Война разрешит все кризисы, убьет безработицу, война потребует железо и сталь, медь и уголь, нефть и азот, бумагу и кожу, консервы и масло, животных и людей, готовых на все.

Штарке молчал.

— Мы пустим дым, разноцветный дым окутает землю фантастическими одеждами. И в этом дыму произойдут величайшие столкновения, кровь храбрецов снова оживит золотые жилы мировой жизни и даст небывалый расцвет победителям, будут пущены газы, превращающие целые армии в сборище хохочущих уродов, они будут хохотать часами, и никакое искусство в мире не даст зрелища, трагичнее и совершеннее этого. Мы пустим машины, переходящие любое препятствие, машины-амфибии, летящие под облаками, ныряющие на дно моря, выходящие на берег и штурмующие города. Машины без руководителей, управляемые на расстоянии. Но, воюя, мы не будем забывать, что сегодняшний враг — завтрашний покупатель, мы не будем забывать этого.

«Наши ядовитые газы проникнут через любую маску, неподдающиеся никакому тушению фосфорные бомбы сожгут мясо до костей, мы зальем, если будет нужно, горящим фосфором города и дороги, отравим водопроводы и колодцы, пулеметный дождь будет итти под небом, затемненным тысячами самолетов, поддержанных дальнобойной артиллерией».

Штарке молчал.

— Если бы вы знали, сколько людей в мире жа-

ждут новой мировой войны. Увеличивающаяся энергия правящих классов ищет выхода, расточительная энергия молодежи, не знающей, что такое война, полна книжных воспоминаний и рассказов из недавнего прошлого. Даже женщины мечтают о войне, — женщины любят кровь, и кровавые рассказы боевого офицера всегда будут волновать их сердца. Но я бы зря сидел в темном окопе, ожидая случайной пули снайпера или куска допотопной мины, если бы не люди, двигавшие военную мысль. Я был у профессора Фабера, чтобы принести ему благодарность за изобретение, перевернувшее историю человечества, но он не понял меня или не хотел понять. Вы же старый солдат, простой и крепкий воин, мой учитель в огнеметном деле, и я рад, что вижу вас, отысканного с таким трудом.

Штарке молчал.

— С кем мы будем воевать, спросите вы? Где плацдарм, достойный такой великой партии? Я вам скажу: весь мир, где есть пролетариат. Не тот, который работает на нас, не тот, который будет есть соус нашей пропаганды, не тот, который мы купим, не тот, который струсит и будет нейтрально грузить военные грузы, — а тот пролетариат, который вооружен ненавистью к нам и смотрит только в одну сторону с ожиданием: в сторону Советской России. Мир знал войны с драконом, с полумесяцем, со львами и орлами империи, теперь он будет воевать с серпом и молотом. Всюду, где появятся эти знаки, будет бой; всякий человек, подымающий руку за них, — наш враг. Вот почему наш великий поход должен объединить воинов всего мира. Мы научились многому за эти годы. Оказалось, что мы еще молоды, что кровь пиратов, как говорит мой друг, не иссякла еще в наших жилах, а империи не строят в белых перчатках. Ваша страна накануне революции, мы придем к вам на помощь. Вам надо сказать одно, милый сэр Отто — что мы больше с

вами не враги. Мы кровные друзья, породнившиеся в битвах, обновивших цивилизацию.

Штарке молчал.

— Я сказал вам, зачем я приехал. Я приветствую вас от всей души. Мир нуждается снова в сильных и крепких душой и телом людях. Я, как ваш Носке, готов повторить: «я горжусь, что меня называют: кровавая собака Носке» — я был бы рад услышать от вас, что вы скажете: «я горжусь, что меня называют Князем тьмы».

Штарке молчал.

— В Лондоне я был недавно на банкете, где великий германец, генерал Леттов-Форбек, защитник восточной Африки, и великий англичанин, генерал Смутс, покоритель восточной Африки, люди, сражавшиеся годы друг с другом, пожали братски руки и заключили союз. Этого я хочу и от вас. Я прошу разрешения пожать вашу славную руку от всего сердца.

Гость встал и подошел к Штарке. Лицо Штарке налилось кровью. Лоб был темнее старой бронзы. Но он оставался неподвижным в своем, похожем на стоячий гроб, кресле. Гость закусил тонкие губы и наклонился к самому его лицу. Потом он перевел глаза на руки Штарке и тронул их своей правой рукой. Он вздрогнул и отодвинулся от кресла.

— Паралич! — не скрывая ужаса, сказал он. — Проклятие, отчего меня не предупредили! Какое несчастье, сэр. Это невозможно, я не верю, как же быть? Но это несомненно паралич, да, — сказал он, снова наклоняясь к Штарке: — вы меня слышали?

Штарке утвердительно кивнул головой.

— И все-таки это паралич?

Штарке кивнул головой. Англичанин оперся о стол, и протез звонко и досадливо хрустнул на всю комнату.

5. ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ СЕГОДНЯ?

Профессор Фабер прошелся по комнате, легкий, как юноша.

— Что же мы делали сегодня, милая Ирма?

Ирма, свежая и веселая, стояла перед ним, она знала, что он любуется ею, что каждое ее движение доставляет ему радость, что иначе не может быть.

— Сегодня мы слушали честного доброго Бетховена, — сказала она, — мне надоели джазы. Завтра Кэтти уезжает в Меран, и я буду ее провожать. Какие новости у тебя, мой милый?

— Я встретил Бурхардта. Я давно не видел его. Он все тот же. Он сходит с ума в своем фашистском рвении. Они в начале будущего года будут праздновать шестидесятилетие Германской империи.

Ирма сложила молитвенно руки перед японским экраном, точно просила вышитого павлина полетать.

— Германской империи... Разве такая существует?

Фабер улыбнулся и потрепал ее по щеке.

— Поговори с ним. Он знает только, что будет праздновать первый Версаль, Версаль семьдесят первого года, будут палить из пушек и говорить речи, он разнесет Францию и Россию, так как традиции не умирают, а в воздухе пахнет третьей империей, будут носить кринолины...

— Вот неожиданность! — воскликнула Ирма, вынимая надушенные папиросы, но относились ли слова ее к сообщению Фабера или к вошедшему Фогелю, который раскланивался еще с порога, осталось неизвестным.

Фогель приближался несколько танцующим шагом, и его лицо дипломата переменило ряд выражений, пока он дошел до японского экарна.

— Профессор Фогель, — сказал Фабер, — очень рад вас видеть. Садитесь. Где вы пропадали?..

— Я был в Майнице и Леверкузене, заезжал в Херхст — все в порядке, только, — он поглядел на Ирму таинственно, — ходят разные слухи о башне завода Курца, следует кое-что там перепланировать.

— Слухами у нас мостят улицы, — сказал Фабер. Шутки не выходили у него всю жизнь. Фогель смотрел на него преданными и глубокими глазами. Дог подошел и положил острообразную морду ему на колени. Дог любил дипломатов, они имели особый запах, они пахли не так, как все люди.

— Я зашел по делу, профессор, — сказал Фогель, — опять эти большевики...

— Фогель, вы настолько стали фашистом, что твердите слово «большевики» при всех случаях жизни. Большевизм — не более как якобинство, помноженное на чартизм и разбавленное немецко-еврейской философией. Для варварских народов — это ключ к культуре, для нас это, повидимому, огненные слова на стене и постоянная пища для газет. Но их ученые — вполне знающие люди. Я встречал некоторых. Они отличные ученые. Что вы хотите сказать, Фогель?

— Вот за тем я и пришел к вам, господин профессор. Не далее как три дня назад в газетах помещено сообщение из Москвы, что там казнено снова несколько десятков так называемых вредителей и среди них есть ученые.

— Милый Фогель, нельзя расстреливать науку, вся европейская культура держится учеными. Расстреливать их могут только дикари.

— Увы, это так. Они расстреливают своих ученых, как простых сапожников.

— Милая Ирма, ты представляешь, когда у нас ЧЕКА возьмет верх и придет убивать меня и Фогеля, что ты будешь делать? Тебя они пощадят, ты красива, ты будешь комиссаром...

— Карл, — воскликнула Ирма, — я не люблю твоих шуток, ты это знаешь, а потом я не верю, что

нас будут убивать; ты что-нибудь придумаешь — и все изменится, как в ту войну.

Фабер поправил очки. В очках он походил на китайца.

— Мы с Фогелем улетим на луну... Так в чем же дело, Фогель?

Фогель пошел к двери и взял оставленный им при входе на стуле красный портфель. Он осторожно вынул большой лист толстой бумаги, сложенный вчетверо, и развернул его перед Фабером.

— Это протест против расстрела, — сказал он, — во имя гуманности мы должны протестовать. Я собираю подписи немецких ученых, и кое-кто уже есть.

Фабер читал подписи. Он нахмурился, прочтя текст.

— Несколько десятков человек, — ты подумай, дитя мое Ирма, подумай, — убить несколько десятков человек — это нужно иметь душу дьявола. Они действительно упорны, как кремень. Это люди однобоких мыслей. История знает примеры дикого упорства. Вспомним хотя бы Гамбетту. В юности отец отправил его к тетке в глушь. Он пишет отцу: «Возьми меня отсюда, я не хочу здесь жить». Отец пишет ему, чтобы он молчал и оставался. Он отвечает: «Возьми меня — или я выколю себе глаз». Отец пишет: не дури и оставайся. Он отвечает: «Я выколол себе один глаз и выколю второй, если ты не возьмешь меня отсюда». Его взяли экстренно. Россия — это сплошные Гамбетты, и одного глаза у них уже, повидимому, нет. Дайте же, Фогель, я подпишу. Мне даже нравится это упрямство примитивного ума. Но Европа должна иметь свою долю влияния, иначе эта орда обрушится на нас, а мне, по правде говоря, жаль моих лабораторий. Я провел в них всю жизнь. У вас есть перо? Так. Спасибо, Фогель. Это высохнет сейчас.

Примечания

Агадир — портовый город на берегу Атлантического океана на ю.-з. Марокко. Приобрел известность в 1911 г. благодаря связанному с ним международному конфликту, главным образом между Германией и Францией.

Адамантова — твердая, металлическая, стальная, алмазная.

Азот — бесцветный газ, не имеющий ни запаха ни вкуса; не способен поддерживать ни дыхание ни горение; составная часть воздуха.

Аллегория — иносказание; выражение одного понятия или представления другим.

Амфибии — земноводные животные (тритоны, саламандры, ящерицы и др.).

Анчар — дерево с ядовитым молочным соком.

Асбест — вещество из асбеста, особого минерала, не поддающегося действию жара и кислот; употребляется в химических производствах.

Ассистент — научный работник, исполняющий вспомогательные функции при профессоре в университете или научно-исследовательском институте.

Атлантида — по сказаниям древних, огромный остров на запад от Африки, исчезнувший под водой.

Байрон (1788—1824) — знаменитый английский поэт.

Бетховен (1770—1827) — знаменитый немецкий музыкальный деятель, создатель ряда бессмертных музыкальных произведений.

Билль о реформах — законопроект (1832 г.), изменивший избирательную систему в Англии в пользу буржуазии и среднего дворянства.

Блиндаж — сооружение, укрепленное деревом или железом и прикрытое землей для безопасного от выстрелов помещения солдат.

Брандмайор — начальник пожарной команды.

Брандспойт — переносная кишка для тушения пожара, качивания воды и т. п.

Бруствер — вал, стена, насыпь, прикрытие против пушечного и ружейного огня.

Вагнер, Рихард (1813 — 1883) — один из величайших деятелей музыки; композитор, гениальный дирижер, музыкальный писатель.

Вакханка — участница вакханалий, т. е. шумных празднеств в честь бога вина и виноградной лозы — Вакха в древнем Риме. В переносном значении — разгульная женщина, предающаяся разврату.

Виадук — мост через овраг или через глубокую и широкую речную долину при незначительных размерах самой реки, а также мостовое сооружение, устраиваемое для пешеходов и для железных дорог над другими железнодорожными путями, идущими в пересекающем направлении.

Вивисектор — человек, выполняющий операцию на живом организме с целью изучения функций какого-либо органа или же системы органов, для выяснения причин различных заболеваний.

Византийский (или греческий) огонь — зажигательные ракеты, впервые изобретенные в VII веке и применявшиеся для уничтожения деревянных кораблей противника. Удачное действие огня и сохранение секрета его состава способствовали преувеличенному мнению о его значении.

Гаагская конференция — здесь имеются в виду *гаагские мирные конференции* (1899 и 1907 гг.), имевшие целью регламентировать различные вопросы, касающиеся капиталистических войн. Мировая война 1914 года показала всю призрачность и беспочвенность такого рода мероприятий в капиталистических условиях.

Гамбетта (1838 — 1882) — французский либерально-буржуазный политический деятель.

Гласис — земляная насыпь у окопного рва.

Гольф — очень распространенная в Англии игра в мяч.

Grüs Gott — (нем.) — привет!

*

Дракон — афинский законодатель, первый составивший записи действовавших законов (621 г. до нашей эры). Суровость его законов вошла в поговорку.

Дюны — конусообразные песчаные холмы на берегу моря, передвигающиеся под влиянием ветра.

Иллюминатор — небольшое окно, обычно круглое, в борте судна, из толстого стекла.

Индепенденты — или конгрегационалисты — широко распространенная, главным образом в Англии и Америке, религиозная группа, стоящая за безусловную свободу вероисповедания.

Иприт — отравляющее вещество; приобрело свое название от местности, где было впервые применено немцами (р. Ипр). Иприт иногда называют горчичным газом, так как его пары по запаху напоминают горчицу. Поражает легкие, слизистые оболочки, кожу, вызывает гнойные воспаления, потерю зрения, смерть.

Иэллоустонский парк — название огромного заповедника в Америке.

Картель, трест, комбинат — различные виды капиталистических объединений, характерные для эпохи империализма. Создаваемые капиталистами с целью «организованных» действий, они тем не менее никогда не устраняют анархии и противоречий капиталистического производства, а, наоборот, расширяют и обостряют их до огромных размеров.

Кислород — газ, составная часть воздуха.

Кокаин — сильно ядовитое вещество в виде бесцветных растворимых кристаллов, парализующий чувствительные нервные окончания и суживающий сосуды; кокаинизм — психическое заболевание вследствие хронического отравления организма кокаином. У больных развивается болтливость, забывчивость, раздражительность, обманы слуха, зрения, бред преследования и т. п.

Колумб, Христофор (1446 — 1506) — знаменитый мореход, открывший Америку.

Комментатор — автор комментария; комментарий — толкование какого-либо текста, книги, специального вопроса и т. п.

Корпорант — студент, входящий в специальную студенческую организацию (корпорацию).

Космополит — последователь космополитизма. Космополитизм — расширение идеи отечества на весь мир. Человек по-

нимается как гражданин всего мира. Космополитизм вытекает из сознания единства человеческого рода, в силу чего интересы отдельных государств, народов и классов подчиняются «общему благу человечества» как целого. Космополитизм не исключает патриотизма и враждебен пролетарскому интернационализму.

Кромвель (1599—1658)—один из виднейших вождей Великой английской революции (1640—1660). Был представителем прогрессивного слоя поместного дворянства.

Лабиринт—в древности название построек и подземных сооружений с многочисленными проходами и с одним лишь входом и выходом.

Made in Germany—сделано (создано, сфабриковано) в Германии.

Макет—модель декорации театральной сцены; предварительный образец типографского издания.

Мандарин—сановник, крупный чиновник в старом дореволюционном Китае.

Мольберт—деревянный станок живописца на трех ножках или двух подставках. Устанавливаемый на мольберте холст, натянутый на подрамник или вставленный в раму, может подниматься и опускаться.

Морфий—кристаллическое вещество горького вкуса; «морфинизм»—хроническое отравление морфием вследствие неудержимой страсти к привычному употреблению его для успокоения болей, для возбуждения и пр.; употребляется также в медицинских целях.

Носке—крайне правый германский социал-демократ. Известен жестоким подавлением революционного движения германского пролетариата. Прозван рабочими «Кровавой собакой». На Носке лежит ответственность за зверское убийство вождей германских коммунистов К. Либкнехта и Розы Люксембург.

Озон—газ синего цвета с характерным резким запахом, получается из кислорода при электрических разрядах; образуется в небольших количествах в воздухе во время грозы. Озон обладает сильным окислительным действием, употребляется для освежения испорченного воздуха, обеззараживания воды, предохранения от гниения пищевых продуктов, обесцвечивания масел и т. д.

Перископ—коленчатая зрительная трубка, употребляемая в сухопутной и морской войне. Служит для наблюдения из-за закрытий.

Прерафаэлиты — группа английских художников и поэтов, образовавшаяся в начале 50-х годов XIX в. с целью борьбы против условности английского искусства, академических традиций и слепого подражания классическим образцам.

ran! ran! alle Mann ran! — (нем.) — сюда! сюда! все сюда!

Рапира — длинная гибкая шпага для особого вида спорта, т. н. фехтования.

Рефери — третейский судья.

Сараево — главный город Боснии, где 28 июня 1914 г. были убиты эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена. Убийство явилось формальным поводом для австро-сербской, а затем и мировой войны.

Седан — город во Франции на реке Маас. Во время франко-прусской войны 1870—71 гг. в его окрестностях произошло сражение между немцами и французами, имевшее решающее значение на исход войны. Немцы прижали французов к бельгийской границы, и Наполеон III сдался с 104000 чел. и 549 орудиями. Седан стал нарицательным словом для обозначения катастрофического поражения.

Сесиль Родс (1853—1902) — английский политический деятель, крупный капиталист. В 1899 г. образовал Британскую южно-африканскую компанию, ставшую проводником британского империализма в Южной Африке. Английские империалисты считают С. Родса «национальным героем».

Синильная кислота — легко-летучая жидкость. Вдыхание паров синильной кислоты производит быстрое смертельное отравление.

Снайпер — меткий стрелок, поражающий цели противника из специально оборудованной винтовки с особо устроенным прицельным аппаратом.

Спа — город и курорт в Бельгии, где в 1920 г. состоялась конференция союзных держав по разрешению вопросов, связанных с выполнением Версальского мирного договора.

Спартаковцы — название союза левых социалистов Германии, учрежденного Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург. На базе союза спартаковцев выросла Германская компартия.

Томми Аткинс — прозвище английского солдата.

Тонна — мера веса, равная 1000 килограммов.

Тоннаж — грузоподъемность судна.

Туль — французский город и крепость.

Фантом — привидение, призрак.

Фашизм — открытая форма капиталистической диктатуры, характерная для большинства буржуазных стран; характеризуется подавлением и уничтожением рабочего движения, разгоном коммунистических партий и т. п.

Фении — конспиративная (тайная) террористическая организация, возникшая в Ирландии и Америке в 1858 г. и ставившая целью подготовку восстания против Англии и достижение национальной независимости Ирландии.

Фламинго — птица, напоминающая организацией гусей (известна также под именем «красных гусей»). Встречается по берегам Средиземного, Черного и Каспийских морей.

Форт — военное укрепление.

Фосген — отравляющий газ, легко сжимаемый в жидкость; почти не обладая раздражающими свойствами, может долго оставаться не обнаруженным со стороны человека, получившего смертельное отравление. Отсюда за ним утвердилась слава «коварного газа».

Фосфор — химическое вещество; обладает отравляющими свойствами.

Футуризм — художественное течение, возникшее в конце первого десятилетия XX века в Италии, а затем нашедшее себе отклик в других странах.

Хлор — отравляющий газ; заражает в первую очередь дыхательные пути и легкие; обладает сильным разрушающим действием.

Чарльстон — один из современных модных буржуазных танцев.

Чартизм — революционно-политическое движение английского рабочего класса в первой половине XIX века.

Шанцевый инструмент (воен.) — железная лопата, топор, кирка и мотыга; относится к снаряжению пехоты на случай спешных земляных работ.

Шериф — в Англии главный представитель государственной власти в провинциях (графствах, шерифствах, городах). Обычно назначается из среды зажиточных землевладельцев.

Шлагбаум — горизонтальная подъемная перекладина на дороге для задерживания проезжающих через полотно железной дороги.

Эстакада — помост для временных пристаней, платформ, передвижения грузов и т. п.

Якобинство — наиболее революционное течение, возникшее в эпоху Великой французской революции.

Азотноватый ангидрид, водистый бензол, метиловый эфир, этиловый эфир, цианистый водород, какодил, дефинил-хлорарсин, хлористый нитробензол — различные виды и соединения отравляющих веществ и газов, употребляющиеся капиталистическими державами в химической войне.

Отв. редактор Ф. Бутенко *Тех. ред. В. Яковлева*
Корректор Н. Малков

ОГИЗ ШХЛ № 2748/л. Тираж 75 250 экз.
Книга сдана в набор 21/IX 1933 г. Подписана к печати 11/XI 1933 г.
Бумага 72 × 100 см., печ. л. $9^1/_2$. Бум. л. $2^3/_8$
Колич. печ. знаков на бум. листе 113 700
Ленинградский Горлит № 26 586 Заказ № 1076

2-я тип. „Печатный Двор“ треста „Полиграфкнига“. Ленинград. Гатчинская, 26





